

# ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ

---

ВЫПУСК 9

---



МОСКВА  
«РУССКАЯ КНИГА»  
2000

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Выпуск 9

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

**Н. Б. Волкова** (ответственный редактор)

**И. И. Аброскина**

**Е. В. Бронникова**

**И. П. Сиротинская**

**С. В. Шумихин** (редактор-составитель)

АВТОРЫ ПУБЛИКАЦИЙ И СООБЩЕНИЙ

**И. И. Аброскина, Е. В. Бронникова, М. В. Золотова,  
К. Н. Кириленко, Т. Л. Латыпова, М. А. Рашковская,  
И. Л. Решетникова, И. П. Сиротинская, Н. В. Снытко,  
С. В. Шумихин**

В ПОДГОТОВКЕ ХРОНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

**О. В. Викторова, Н. Б. Волкова, С. Ю. Митурич,  
О. В. Рожкова, И. П. Сиротинская, С. В. Шумихин**

ПЕРЕВОДЫ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ

**Н. В. Снытко**

ПРОВЕРКА И СВЕРКА ПУБЛИКУЕМЫХ  
ТЕКСТОВ, ОБЩАЯ УНИФИКАЦИЯ,  
СОСТАВЛЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ ИМЕН  
И ПОДБОР ИЛЛЮСТРАЦИЙ

**И. И. Аброскина, Е. В. Бронникова, Т. Л. Латыпова,  
С. В. Шумихин**



В СБОРНИКЕ «ВСТРЕЧИ  
С ПРОШЛЫМ» – ИСТОРИЯ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИЯ БЫТА,  
А ТАКЖЕ ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ  
И ДИЗАЙНА, НОВЫЕ ТЕКСТЫ,  
ДНЕВНИКИ, ПЕРЕПИСКА,  
ВОСПОМИНАНИЯ. ВОТ ИМЕНА  
ТЕХ, О КОМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ:

А. Я. БУЛГАКОВ

А. А. ВАНОВСКИЙ

Ф. А. ВАСИЛЬЕВ

Н. ГУМИЛЕВ

С. Н. ДУРЫЛИН

М. Ф. ЛАРИОНОВ

Вяч. ПОЛОНСКИЙ

Л. Д. СЕМЕНОВ

Ф. М. ТОЛСТОЙ

Р. Р. ФАЛЬК

А. С. ХОХЛОВА

Евг. Л. ШВАРЦ

---

## ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

---

9-й выпуск сборника архивных материалов РГАЛИ «Встречи с прошлым» выходит в свет на рубеже века и тысячелетия.

В России на протяжении XIX столетия несколько раз (как минимум четырежды) менялись, согласно терминологии Маркса, «общественно-экономические формации» и государственные механизмы. Поскольку определенная иерархия присутствует в любой упорядоченной системе, существовала такая и в литературе и искусстве. Последнее десятилетие XX века эту иерархию нарушило походя, как нечто побочное происшедшим глобальным изменениям.

Тем важнее неослабевающий интерес к литературе «не сочиненной», литературе «non-fiction», к документальным публикациям. 9-й выпуск «Встреч с прошлым» посвящен, главным образом, мемуарному, эпистолярному жанру, а также включает обзор фонда Евгения Шварца, написанный еще к столетию драматурга, которое отмечалось в 1998 году. В обзоре дана характеристика материалов Шварца в РГАЛИ — его рукописей, дневников, переписки и т. д. Евг. Шварц не был идеальным архивистом, подобно Александру Блоку, державшему свои бумаги и переписку в величайшем порядке, но ему удалось сохранить значительную часть архива несмотря на неоднократные переезды из города в город, эвакуацию в годы войны.

Публикации воспоминаний и дневников занимают основное место в этом выпуске «Встреч». Обширные фрагменты из дневника московского почт-директора А. Я. Булгакова, который тот вел около 40 лет, содержат сведения о Пушкине, Вяземском, Жуковском, Чаадаеве, А. И. Тургеневе, Денисе Давыдове, Александре Дюма, Герцене, Николае I, Бенкендорфе и др. Реальные исторические факты иногда своеобразно корреспондируют с литературой сочиненной, уточняя, как все было «на самом деле». Так, например,

«шалости» князя Сергея Трубецкого, описанные А. Я. Булгаковым, могли бы стать основой реально-исторического комментария к роману Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов».

Воспоминания об ушедшей Москве конца XIX — начала XX вв. С. Н. Дурьлина поэтичны и немного грустны. Писались они в сибирской ссылке в середине 1920-х годов. «Писать историю, значит — судить. Наоборот: вспоминать — значит прощать», — читаем мы в авторском предисловии.

Воспоминания епископа А. Семенова-Тян-Шанского о своем брате поэте Леониде Семенове, убитом в 1917 году, воскрешают биографию этого революционера, затем толстовца, а в конце жизни — православного подвижника. Поэт Леонид Семенов ныне известен лишь узким специалистам по истории русской литературы начала XX века, а в свое время его ценили Блок и Белый.

Дневник редактора «Нового мира» Вяч. Полонского 1931 года рассказывает о борьбе литературных фракций и группировок: РАПП, «Кузница», «Перевал», «Леф» и «Реф» и др. в 1920-х — начале 1930-х годов, об отношении к писателям-«попутчикам», содержит много новых фактов для реконструкции процесса этой борьбы. Н. М. Любимов, переводчик Боккаччо, Рабле и Сервантеса, написавший интересные мемуары, ставил Полонского, как редактора «Нового мира», выше Твардовского (см.: *Любимов Николай. Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний.* Т. I. М., 2000. С. 244). В публикуемом дневнике масса полузабытых и напрочь забытых имен. Произведения Федора Гладкова, Сергея Буданцева, Георгия Никифорова, Павла Арского и им подобных вряд ли кто-нибудь и когда-нибудь снимет с книжной полки (разве что как материал для научной монографии, рассматривая их в качестве, как сейчас говорят, «текстов»). А ведь именно эта масса пишущих и печатавшихся, а не Борис Пастернак с Михаилом Булгаковым, составляла то, что звалось «советской литературой». Впрочем, у Полонского в дневнике много и о «прозе жизни», о квартирном вопросе, испортившем москвичей, о той пайково-распределительной сфере писательской жизни, о которой писал в 1931 году Николай Олейников:

Когда ему выдали сахар и мыло,  
Он стал домогаться селедок с крупой.  
...Типичная пошлость царя  
В его голове небольшой.

Обратят на себя внимание читателя и фрагменты исследования русского мыслителя и философа А. А. Вановского, жившего в эмиграции в Японии, где весьма своеобразно и своеобразно истолковывается самая знаменитая из трагедий Шекспира. Публикуемые части книги Вановского «Сын человеческий». Выявление скрытого иудейского сюжета трагедии Шекспира «Гамлет» содержат более чем нетрадиционный подход к творчеству английского драматурга, который, можно в этом не сомневаться, отвергнет большинство шекспироведов. Но истина как раз и рождается в спорах.

Оттенок живого, непосредственного общения с прошлым придают сборнику письма, в которых звучат голоса людей, думающих, чувствующих, кажется, вместе с нами. Это письма незадачливого литератора и музыкального критика Феофила Толстого, рано умершего художника Федора Васильева, письма художника Михаила Ларионова из Парижа и Швейцарии к актрисе А. С. Хохловой.

По-своему интересна лекция, прочитанная в 1943 году Робертом Фальком студентам художественных училищ, где он рассказывает о Париже 1920 — 1930-х годов, городе, казавшемся им тогда недостижимой чужой планетой.

Археографическая подача материалов, сравнительно с предшествующими сборниками, не изменилась: купюры обозначаются отточием в квадратных скобках, подчеркнутые автором места выделены курсивом. Персоналии, сведения о которых легко отыскать в любом справочнике, в примечаниях не комментируются.

## С. Н. ДУРЫЛИН МОСКВА

Публикация М. А. Рашковской

Автор публикуемых записок о Москве Сергей Николаевич Дурьлин (1886—1954) — историк литературы и театра, археолог и этнограф, священник, поэт, мемуарист. Постоянные читатели наших сборников могут помнить его имя по предыдущим томам «Встреч с прошлым»<sup>1</sup>. Представленный здесь текст — первая попытка С. Н. Дурьлина написать воспоминания о своей жизни. Автор начал работу над ними 2 июня 1928 года в Томске, сибирском городе, в котором он оказался не по своей воле. Уже не первый раз за прожитые 42 года Дурьлин должен был начинать жизнь заново. Позади были поездки в Оптину пустынь к старцу Анатолию Оптинскому, жизнь в Сергиевом Посаде, общение с Павлом Флоренским, беседы и переписка с умирающим В. В. Розановым, жизнь в Муранове, занятия с детьми в семье потомков Ф. И. Тютчева — Пигаревых — и в мурановском архиве. Позади было двухлетнее церковное служение. В марте 1920 года Дурьлин был рукоположен в сан священника и до своего ареста в 1922-м служил в церкви святителя Николая Мирликийского в Кленниках и в других приходах (где настоятелем был его духовный отец, московский старец Алексей Мечев). Дурьлин был освобожден из тюрьмы по ходатайству А. В. Луначарского под обещание снять с себя сан. С января 1923 по конец 1924 года он жил в ссылке в Челябинске, работал в краеведческом музее, занимался археологическими изысканиями, историко-краеведческими исследованиями. Возвратившись в Москву, Дурьлин становится сотрудником Государственной академии художественных наук, пишет статьи, читает доклады о творчестве Достоевского, Лескова, Константина Леонтьева, работает над гоголевскими публикациями. Летом 1927-го — новый арест и ссылка в Томск.

Вероятно, эти нелегкие жизненные обстоятельства во многом объясняют горечь, сквозящую в авторском предисловии:

Воспоминания пишут тогда, когда подводят итоги своей жизни, своему делу, своему творчеству. Я начинаю писать свои «Записки» тогда, когда убедился, что никакого итога не могу подвести ни жизни, ни делу, ни творчеству своему — мало того, начинаю вспоминать свое прошлое тогда, когда должен бы сурово спросить себя:

да было ли у меня дело? было ли у меня творчество? — была ли у меня и самая жизнь? Ведь жизнь — это не некоторое количество «я», рассеянных по дням, годам и десятилетиям, и внешне только объединенное общим обозначением: «Сергей Дурьлин». Жизнь — это нечто единое, целостное, одноформное. А я знаю, что и умру, не создав формы своей жизни. Я — никто: я — «не», «не» и «не»: не ученый, не писатель, не поэт, хотя я и писал ученые статьи, и был писателем, и слогал стихи, я — никакой профессионал. Никакое профессиональное дело не сделано мною в жизни. Я многое делал, но ничего не сделал. Жизнь не жила, а скорее мне снилась, — то хорошо, то дурно. Рассказывать сны! — кому интересно? И лучше, и проще сказать, что жизни у меня не было, ибо часто-часто повторяю я (и давно, с 20 лет начал повторять) осмеянные когда-то слова В. Я. Брюсова: «Желал бы я не быть «Валерий Брюсов»!»<sup>2</sup> Желал бы я не быть тем «Сергеем Дурьлиным», о котором приходится писать, если хочешь говорить о прожитом!

История есть суд, давно сказано. Писать историю, значит — судить. Наоборот: вспоминать — значит, прощать. Обвинительные речи, обращенные к прошлому, всегда лживы: прошлое молчаливо; позванное на суд, оно не может ничего сказать в свою защиту, оно не может выставить свидетелей в свою пользу: все они в могиле. Если нет сил прощать, не надо и вспоминать. Всех надо простить в воспоминаниях: и это простить — здесь будет значить — понять, всех надо простить, кроме одного — кроме себя самого.

Был «Сергей Дурьлин». Ребенок, отрок, подросток, юноша, взрослый человек, почти старик, он жил, но часто — и чем дальше, тем чаще — «Сергеем Дурьлиным» тяготился тот, кто десятки десятков раз повторял, относя к себе приведенные брюсовские стихи, и кто мог бы так — совершенно иначе — определить себя:

Я — это ТЫ, о НЕВЕДОМЫЙ,  
Ты, в моем сердце ОБИЖЕННЫЙ.

Вот, значит, есть и хорошо осведомленный судья «Сергею Дурьлину». Только сумеет ли он судить. И так, и суд, и прощение должны быть в этой книге. Пусть они объединяются в «сердца горестные заметы» и в те припоминания «памяти сердца», которые будут посвящены тем, о коих нельзя говорить

...с тоской: их нет!  
Но с благодарностию: были!

Работа над осмыслением своего внутреннего опыта, встреч с людьми всегда была для Дурылина существенной потребностью. В архивном фонде Дурылина сохранилось множество записных книжек, дневников, рабочих тетрадей, которые он вел с юности. Часть их получила авторское название «В своем углу». Эти тетради включали дневниковые записи, черновики писем к близким, копии наиболее интересной корреспонденции, выписки из книг, необходимые для научной работы, размышления по поводу прочитанного, воспоминания о друзьях и знакомых, умерших, эмигрировавших, или о тех, с кем он был разлучен (В. Я. Брюсов, Н. К. Метнер, В. В. Розанов, М. А. Волошин, М. В. Нестеров, Б. Л. Пастернак...) Большая часть этих тетрадей заполнялась автором в челябинской и томской ссылке, на поселении в Киржаче и не предназначалась для издания<sup>3</sup>. После возвращения в Москву летом 1932 года Сергей Николаевич перестал их вести. А вот записки, о которых идет речь, скорее всего, должны были стать первой частью обширных воспоминаний о прошлом. Следом за ними, вероятно, предполагались воспоминания о детстве, родителях, годах учения. Эти воспоминания, объединенные общим заглавием «В родном углу», писались в 1930 году в Киржаче, куда Дурылин переехал по окончании срока томской ссылки, а затем в Болшеве во время войны. Томская же тетрадь в черной клеенчатой обложке так и осталась первым, незаконченным опытом. Всего были написаны 4 главы (части). Для пятой автор записал только эпиграф из стихотворения А. Ф. Мерзлякова «Юбилей»:

Что знамя мыслей, чувств и духа?  
Что умственный народа лик,  
Его являющий для слуха  
Вселенной и времен? Язык.

Этот эпиграф, в некоторой степени, позволяет догадываться о возможном замысле ненаписанной главы.

Мемуарист назвал свой текст записками и, действительно, более четко определить их жанр было бы трудно. Здесь и воспоминания, и историко-культурный очерк, и эссе. Это характерно для Дурылина, в те годы и мировоззренчески, и стилистически находившегося под обаянием личности и творчества Василия Розанова. Суть же розановского художественного влияния на Дурылина в том, что эстетика произведения определяется процессом непрерывного авторского собеседования с читателем и одновременно с самим собой; само авторское «я» вовлекается в круг собеседников. Как всегда у Дурылина, это еще и рассказ умного, очень знающего, доброжелательного и немного печального наблюдателя жизни. В 1928 году он вспоминает и любовно воссоздает приметы не слишком давнего, но уже навсегда ушедшего быта: маршруты конки и трамваев, цены на билеты, типы извозчиков, звуки ночной и дневной Москвы; купола и звоны московских церквей, московский говор.

Все это описано подробно, обстоятельно, с живыми сценками и характерными участниками, в числе коих и реальные московские жители. Писатели, ученые, священнослужители, предприниматели, художники, актеры, гимназические учителя и соученики по гимназии — все эти люди вовлечены в общий круг московской жизни и воскрешены под пером мемуариста. М. Ю. Лермонтов и Артем, И. Ф. Горбунов и А. А. Яблочкина, Б. Л. Пастернак и В. И. Суриков, М. А. Волошин и М. П. Садовский, С. Н. Булгаков и Е. Н. Трубецкой, патриарх-мученик Гермоген и С. И. Мамонтов не случайно упомянуты в записках о Москве и не случайны для их автора. Жизненные пути многих из них непосредственно пересеклись с жизнью Дурылина, творчество и личность других стали предметом его дум и исследований.

В Сибири он тоскует и по ушедшей Москве, и по настоящей. Любовь к ней сказывается не только в любовно припоминаемых реалиях старого, размеренного быта, но и в обстоятельных описаниях примет нового времени. Москва детства и юности автора — бурно развивавшийся индустриальный город, за которым стояла огромная духовная и культурная традиция коренной России. Многообразии взаимодействующих планов городской жизни начала XX века с неповторимой тонкостью запечатлено автором. И это не случайно. За этой тонкостью стоит опыт не только даровитого писателя, но и ученого археолога и этнографа, умеющего видеть, осмысливать и описывать некоторые уникальные явления исторического наследия и текущей народной жизни. Труды Дурылина по этнографии Русского Севера до сих пор сохранили свой научный и общекультурный интерес. Одна из тем его историко-культурных занятий в предреволюционную пору — место града Китежа в русском народном сознании, то есть тема исчезнувшей, но подспудно сохраняющейся святыни. Этому посвящена его книга «Церковь Невидимого Града» (М.: Путь, 1913). Святыня может уходить с поверхности, может быть гонима, может таиться в глубине сознания, но рано или поздно ей надлежит проявиться и подняться из глубин жизни. Вероятно, задачей этих записок было сохранение в памяти и запечатление образа Москвы-Китежа.

Записки не были закончены Дурылиным, и этим объясняется их черновой характер. В 1928 году он еще пользовался старой орфографией. В рукописи множество зачеркнутых и вписанных над строкой и на полях слов и фраз, некоторые из них не поддаются прочтению. Имеются пропуски в тексте. К отдельным абзацам автор вынес на полях тематические подзаголовки-пометы, например: «Церковная тишина», «На Иване Великом в пасхальную ночь с Борисом Пастернаком». Скорее всего, эти подзаголовки носили подсобный характер и помогали ему быстро отыскать необходимый отрывок в цельном тексте. При публикации, чтобы не затруднять чтения, эти пометы не воспроизводятся, так же

как и не оговариваются авторские вставки и исправления. В некоторых случаях публикатор дополнительно разбил текст на абзацы.

Текст печатается по современной орфографии, явные описки исправлены без оговорок, общеупотребительные сокращения (такие, как «напр.», «т. к.», «мн. др.») раскрыты, иные — раскрываются в квадратных скобках. Авторские подчеркивания переданы курсивом. Рукопись записок хранится в РГАЛИ в фонде С. Н. Дурылина (Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 217).

Москва не есть обыкновенный большой город, каких  
тысяча; Москва не безмолвная громада камней  
холодных, составленных в симметрическом  
порядке... нет! у нее есть своя душа, своя жизнь.

*Лермонтов*

Москва!.. Как много в этом звуке  
Для сердца русского слилось, —  
Как много в нем отозвалось!

*Пушкин*

Мы же все любим родную Москву! — Что мы в ней  
полюбили?  
Всё: и людей, и обычай, и стены, и камни, и гробы.

*М. Дмитриев*

## 1

Москва до конца XIX века была тихая, златоглавая, великорусская Москва. С начала XX века, с японской войны и первой революции, в нее впервые пришел шум трамваев, автомобилей, новых железных дорог — она перестала быть тихой; началась, с этой же примерно поры, усиленная стройка домов в 5, 6, 8, этажей\*. Их высокие громады, до революции 1917 г. еще пытавшиеся перенять от умиравших барских особняков их изящный облик *empire*'а, скрыли своими плотными коробкообразными массами старинные низенькие

---

\* Первым домом в 8 этажей был дом Ефремова у Красных ворот, построенный около 1905 г. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

церкви, — и Москва постепенно перестала быть златоглавой; война 1914 г., революция 1917 г. и последующие годы наводнили Москву пришлым людом с двух частей света, — и Москва перестала быть великорусской.

Москвичи старой Москвы, — Москвы, гудящего звоном Кремля, тихих улиц с густыми садами, златоглавых церквей, — Москвы Малого театра с Ермоловой, Федотовой и Садовскими, Московского университета с Ключевским, нарождающегося Художественного театра — Москвы многонародных летних крестных ходов в окраинные монастыри, шумящего веселого Вербного гулянья на Красной площади, — народной, ядреной великорусской речи на Сухаревке, на Трубе, в трактирах с белыми половыми, — москвичи этой московской Москвы уже не составляют всего населения теперешней Москвы. Огромное число теперешних насельников Москвы — не москвичи, связанные со своим городом давними, исторически крепкими связями, а случайно попавшие в Москву жители. Если б им переселиться в Петербург, в Одессу, в Лондон, в Шанхай, в Нью-Йорк, они остались бы там такими же жителями со стороны, квартирантами, какими были в Москве, и не принесли бы с собой ничего московского. Грибоедов утверждал в 1820-х гг., что «московский отпечаток» на всех москвичах приметен «с головы до пяток» — жители Москвы, поселившиеся в ней с войны 1914 г., конечно, не обладают этим «отпечатком» и в ноть величиной — ни в речи своей, ни в бытовом складе, ни в «памяти сердца», ни в «рассудка памяти печальной». Они случайные прохожие, осевшие в Москве; так могли бы они осесть в любом городе мира, всюду одинаково не «местные» и без «отпечатка». Грибоедовская Москва давно умерла, но «московский отпечаток» продолжал существовать, пока существовала старая Москва. Его нетрудно было различать на людях самых разных житейских положений и культурных уровней. В. О. Ключевский был знаменитый историк, человек скептического ума и взора, М. П. Садовский был славный актер Малого театра, приятель и совершенный исполнитель Островского, Ф. Н. Плевако был прославленный на всю Россию присяжный поверенный, либеральный обличитель игумении Митрофании<sup>4</sup>, В. М. Васнецов был благочестивый художник Владимирского собора, монархист по убеждениям. Протопресвитер Большого Успенского собора Н. А. Любимов, огромного роста, огромной толщины и с огромным басом, был такой величественной красоты, что про него говаривали:

«Есть в Москве Царь-колокол, есть Царь-пушка, а есть и Царь-поп». Но вот если б рядом с этими знаменитыми ученым, актером, художником, с именитым протопопом — поставить обыкновенного московского купца из Замоскворечья или Таганки, мастерового с Немецкой улицы, фабричного из Даниловской мануфактуры [18]90-х гг., букиниста от Владимирских ворот или полового из московского трактира, — на них на всех сказался бы единый «московский отпечаток», — и не в одной только речи. На первой неделе Великого поста они все и встречались в Большом Успенском соборе за мефимонами\*: Любимов читал мефимоны<sup>5</sup>, с великолепною, московскою, соборною стильностью древнего прекрасного богослужебного чина, Плевако, церковный староста, «ктитор» Успенского собора, шел с блюдом, а Ключевский, Садовский и Васнецов вместе с таганскими купцами, даниловскими фабричными, мастеровыми с Зацепы, вместе с забежавшим половым от Арсеньича<sup>6</sup>, с приказчиком из Теплых рядов, а иной раз и вместе с гимназистом С. Дурылиным, стояли в толпе молящихся, переполнявшей древний собор, и молились, и умилялись, как москвичи XVII ст., на суровое великолепие, необычайную словесную красоту, умиленность великопостной службы. На всех них, от служащего протопопа, от собирающего на собор ктитора-адвоката, от молящегося скептика-профессора русской истории до мастерового и гимназиста лежал тогда один «московский отпечаток» — не тот, конечно, над которым подсмеивался Грибоедов. Этим «отпечатком» объединялась Москва и в пасхальную ночь на Кремлевской Соборной площади в Светлую Заутреню. Бесчисленные огоньки желтых, красных и зеленых пасхальных свечей ярко и мудро озаряли тогда этот «отпечаток» на лицах всех, кто бывал тогда на Соборной площади. А тут, плечо о плечо, с фабричным-ткачом и сидельцем из амбара готового русского платья Стулова, стаивали и тот же Ключевский, и Владимир Соловьев, и специально для Кремлевской Светлой Заутрени

---

\* Допускаю здесь хронологическую неточность: Н. А. Любимов сделался протопресвитером Успенского собора, сколько помню, уже тогда, когда умерли Ключевский и Плевако (года через два после их смерти). Но предшественники его, протопресвитеры, были также, в своем роде, «Царь-попы»: с мощными фигурами, глубокими басами, коренные москвичи. Любимова беру лишь потому, что он был классическим типом протопопа, чем и стяжал вышеприведенное прозвище. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

приехавший из Петербурга москвич И. Ф. Горбунов<sup>7</sup> с московскими актерами, и, случалось, А. П. Чехов, и художники-москвичи: Ап[оллинарий] Васнецов, покойный Переплетчиков и многие другие.

«Московский отпечаток» лежал на них всех и тогда, когда встречались они все на Вербное на Красной площади, — или рылись в лавочках букинистов на старой Сухаревке. Ключевский искал редкие издания грамот царских, Садовский — водевиль начала XIX ст., мастеровой — «Разбойника Чуркина». Каждый свое. Но каждый искал, не стирая с себя общего «московского отпечатка».

Когда Ключевский рассказывал с кафедры Московского университета про тишайшего москвича, царя Алексея Михайловича, когда Плевако говорил в суде, когда Садовские играли в пьесах Островского на Малом театре — студент, слушатель, зритель слышали ту народно-яркую, емко-меткую, самоцветно-живую московскую речь, которая, разумеется, не в столь совершенной художественной обработке, — также звучала из уст московских купца, мастерового, фабричного и той московской просвирни, у которой Пушкин советовал учиться чистоте и правильности русской речи<sup>9</sup>. На речи великого историка, знаменитого актера, славного адвоката, как и на речи мастерового и купца, лежал один и тот же «московский отпечаток», который так высоко ценил москвич по рождению и языку Пушкин.

Этого многообразного московского «отпечатка» нет ни на йоту у пришлых, новых, современных жителей Москвы. Отпечаток этот стерся почти на глазах наших. Стоит старому прирожденному москвичу прислушаться к современной речи в Москве (не хочу ее называть московской) в трамвае, в театре, на лекции, где угодно, даже в церкви во время проповеди, и ухо сразу уловит в речи какой угодно отпечаток — одесский, киевский или еще более западный, или какой угодно восточный, — только не московский. Артист Малого театра М. Ф. Ленин сказывал мне, что, когда в труппу Малого театра в 1909 г. вступил К. В. Бравич

---

<sup>7</sup> А. А. Яблочкина рассказывала мне в 1926 г., как ей в молодости приходилось ходить в Кремль к заутрене с Н. А. Никулиной<sup>8</sup> (из московского купеческого рода) и с И. Ф. Горбуновым, который, приехав из Петербурга, нарадоваться не мог, что он в Москве, в Кремле, с народом: «московский отпечаток» сиял на его умном, русском, простом лице: он был родом из подмосковных, пушкинских фабричных. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

и пришлось ему играть в русских классических пьесах, старых актеров Малого театра неприятно поразило в речи этого умного артиста отсутствие того, что я называю «московским отпечатком» и что в течение 100 лет господствовало на Малой сцене. В его речи не оказалось той прирожденной верности речевому строю Грибоедова, Островского и др., которая одна помогала вскрывать все словесное богатство этих драматургов-москвичей и наполнить этим богатством сценические образы.

То, что почувствовали в Бравиче актеры Малого театра, выросшие в атмосфере чистейшей русской речи, может чувствовать лишь москвич, а не житель Москвы, — и указать, в чем тут ущерб, тому, кто наносит этот ущерб, конечно, невозможно. Но огромную порчу языка, исчезновение из него Пушкиным утвержденного «московского отпечатка» можно проследить и иначе. Стоит сравнить язык московских газет, скажем, 1927 г. с языком московских же газет 1897 г., чтобы не ходить далеко: «московский отпечаток» газет 1897 г. (каковы бы они ни были, либеральные или консервативные, профессорские или уличные) заменился в 1927 г. отпечатком несравненно более юго-западным, — во всяком случае таким, которому москвич Пушкин не послал бы никого учиться.

Но «московский отпечаток» смыт не только с людей и языка их, он смыт и с самой Москвы. Ее «лица необщее выражение», которым приезжали на моей памяти восхищаться Кнут Гамсун, Верхарн, Уэлс, с каждым годом исчезает все больше и больше, сменяясь обычной гримасой рядового европейского города, пыгающегося торопливо американизироваться. Уничтожение целого ряда архитектурных памятников, характерных для Москвы (достаточно назвать Красные ворота и целый ряд церквей XVII — XVIII ст.), застройка новыми домами коробочно-американского типа серой, а не типичной для Москвы белой окраски, проведение новых улиц, перемещение рынков и упразднение некоторых из них (достаточно назвать упразднение старых «Сухаревки» и «Трубы»), уничтожение древних московских народно-церковных установлений (крестные ходы вокруг Кремля и в окрестные монастыри) и народных торжищ и гульбищ (Вербное гуляние на Красной площади, великопостное торжище «на льду» между Устьинским и Москворецким мостом), вырубка садов и снос множества старых деревянных домов в бестопливную эпоху 1919 — 1921 гг. Все это и многое

другое уже уничтожило на три четверти тот «московский отпечаток» во внешности города Москвы, которым любовались Гамсун и Верхарн. Пройдет еще немного лет — и Москва будет напоминать собой не Рим, как напоминала она Шевыреву<sup>10</sup> в 20 — 30-х гг. XIX ст., не сказочный восточный город, каким показалась Гамсуну в 1903 г., и не тот с детства мечтаемый рыцарский Кремль-Замок, которым Москва предстала Верхарну в 1913 г., а будет напоминать те шумящие города, от воздуха до глубины недр разорванные воздушными железными дорогами, трамваями, автобусами, метрополитенами, города, каких существует много, однообразных и скучных, в Европе, Америке, Австралии.

Жить и умереть в такой Москве я бы не хотел. Желал бы умереть тогда, когда еще нашлось бы мне место в земле московской, под березами, а не в отвратительной, всепожирающей огненной пасти крематория. Пока же жив, пока «память сердца» предъявляет вне места и времени тех, о ком не надо «говорить тоской: их нет, но с благодарностью: были» — первой вспоминается родина — Москва. Ей первой, горько зная, что ее уже нет, хочется сказать «с благодарностью: была!» Вот почему начинаю свои записки с воспоминания о старой Москве. Умерла она в [пропуск в тексте] году.

## 2

Порфироносная вдова.

Пушкин

Москва была тихая, как и подобало быть «порфироносной вдове».

До самого конца 90-х к ней вели вместо 11 современных только 6 железных дорог: Николаевская, Ярославская, Нижегородская, Рязанская, Курская и Брестская. Из них только Николаевская, Курская и Брестская были не меньшей длины, чем, скажем, в 1914 г.; остальные были короче и гораздо проселочнее, если так можно выразиться. С маленького, в два этажа всего, беленького «Троицкого» вокзала — так называли тогда все, и извозчики, и пассажиры современный Северный вокзал — можно было доехать только до Ярославля; в Ярославле надо было переправляться через Волгу, как кто хочет: на парходике или на лодке и, взобравшись в гору, садиться в крошечный поезд узкоколейной, совсем проселочной железной дороги и доехать в нем до тупика —

до недалекой Вологды. Линия до Архангельска, построенная гениально-прозорливым С. И. Мамонтовым, убыточно уложившим на нее огромные средства и через то подсекившим до краха свое состояние, была открыта только в 1898 г. «Троицкий вокзал» верно выражал истинное значение для Москвы этой дороги: конечно, больше всего по ней ездили на богомолье к Троице, к Преподобному. Дорога и была сперва построена только до «Троицы». Казанская линия Рязанской жел[езной] д[ороги] также проложена была лишь в середине 90-х гг., Нижегородская упиралась в тупик. Крохотные, тесные деревянные вокзальчики Курской (там же, где теперь) и Нижегородской ж[елезной] д[ороги] (где теперь Москва-2 Нижегородской дороги) показывали, как невелико было движение по этим линиям.

Окружной дороги не было. Любопытно посмотреть в газетах середины XIX ст. расписание поездов, отходящих и приходящих в Москву, и сравнить его с расписанием лета 1914 г.: оно поражает своею бедностью — мало железных дорог, еще меньше поездов, дальних две-три пары в день да две-три пары ближних, — вот и все. Населеннейшее кольцо таких подмосковных поселков, как Лосиноостровская (теперь — город!), Чухлинка и др., — отсутствовало. Почти до самого 1905 г. на месте современного города Лосиноостровска, куда ходит до 10 — 15 поездов в день, был прекрасный сосновый лес, часть знаменитого древнего Лосино острова, в котором в изобилии водились лоси, выбитые в эпоху 1918 — 20 гг.

На шести железных дорогах не было такого огромного числа промежуточных между станциями платформ, какие есть теперь. Дачных мест под Москвой было немного; зимние поселения при пригородных станциях отсутствовали. Поэтому и такого напряженного, почти непрерывного движения поездов дачных и пригородных, какое есть теперь, тогда не было.

Главная улица, ведущая к главным вокзалам, — Мясницкая середины 90-х гг. и Мясницкая 10-х, 20-х гг. XX ст. — это две совершенно различные улицы двух совершенно различных городов. Теперешняя Мясницкая — это поток трамваев, автобусов, автомобилей, мотоциклетов, извозчиков, льющийся к вокзалам и давно уже переливающийся до того через край, что есть прямая нужда отвести часть этого потока под землю, в метрополитен. Поток этот смыл на своем пути и чудесный памятник Елизаветинской эпохи —

Красные ворота\*, и прекрасную, также Елизаветинской эпохи, Церковь Архидиакона Евпла, на углу Милютинского переулка<sup>11</sup>, ту самую, в которой, в единственной в Москве, не прекращалось богослужение во все время пребывания Наполеона в Москве\*\*, и грозит снести и древние церкви Гребенской Божией Матери и Флора и Лавра\*\*\*.

Мясницкая — по непрерывности, силе и мощности совершающегося по ней движения — едва ли не самая напряженная улица новой Москвы, так как она — кратчайшее расстояние между главными вокзалами и центром. Таково же, конечно, было географическое значение ее и в старой Москве, но была она тогда совсем иная: достаточно сказать, что почти вплоть до 1905 г. по Мясницкой не только не проходили бесчисленные линии трамваев, а не проходила по ней и тишайшая московская конка. Это была улица серьезных технических контор и легковых извозчиков, отвозивших пассажиров на три вокзала, — улица деловая, но вовсе не стремительная, а скорее следовавшая темпу: «медлительно спешить».

И эта улица — без трамваев и без конки — считалась одной из самых шумных в старой Москве. Отнюдь не шумный характер этой самой шумной улицы прежней Москвы подчеркивался еще и тем, что на ней находились здания, не любящие шума, — богатые особняки известного мецената К. Т. Солдатенкова (с картинной галереей, пожертвованной впоследствии в Румянцевский музей), Стахеева, Мазурина и др., Духовная консистория, больница, Училище живописи — бывший дом масонских лож, реальное училище Воскресенского, женская гимназия и др.

Москва окружена теперь кольцом непрерывного свиста паровозов, не разрывающимся ни днем, ни ночью. Этого кольца также не было. От этого отдельные свистки паровозов воспринимались на фоне обычной тишины как несдержанные вскрики острой, почти человеческой грусти. Теперь, когда эти вскрики почти сливаются в непрерывное кольцо, этого восприятия уже нет. Все стало будничней,

---

\* Такова, по крайней мере, официальная мотивировка их сломки, лишившей Москву и Россию одного из совершеннейших памятников Елизаветинского барокко, строенного классиком русской архитектуры — Ухтомским. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

\*\* Опять-таки такова официальная мотивировка сломки и этого замечательного памятника архитектуры XVIII ст. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

\*\*\* Разговоры об этом уже идут. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

обычной. Во вскриках утерялось что-то личное, неповторимое, остро-человеческое.

Москва окружена и перечеркнута теперь вкривь и вкось линиями трамваев. Первая линия (пробная) по Малой Дмитровке появилась в 18[*пропуск в тексте*] году и долго оставалась единственной. Любители прогулок ездили по ней кататься. Прокладка настоящей трамвайной сети началась только перед самым 1905 г., даже, кажется, в этом именно году, — и новенькие трамвайные провода послужили отличным материалом для построения баррикад. Делалось это очень просто. Помню баррикаду на Покровке в декабре 1905 г. Революционеры подрубили два-три трамвайных столба с большим участком проволоки; из столбов и [*луп*] этой проволоки легко устроили такое заграждение поперек широкой улицы, что оно не уступало и японским на полях Маньчжурии. Без трамвайной проволоки труднее было бы воздвигать баррикады.

Место трамваев в старой Москве занимали конки. Было два общества конно-железных дорог. Первое владело линиями по главным улицам, второе — второстепенными линиями. И тех и других было немного, — несравненно меньше, чем трамвайных. Первое общество содержало линии, шедшие радиусами от центра, от Лубянской площади: по Маросейке — Покровке до Преображенской заставы, по Маросейке — Черногрязской Садовой и Сокольничьему шоссе до Сокольничьего круга, по Солянке и Николо-Ямской до Рогожской заставы, по Арбату до Дорогомиловки и в Замоскворечье по Полянке до Серпуховской площади.

Второе общество (Бельгийское) содержало кольцевые линии, соответствующие теперешним трамваям А и Б, линию от Устьинского моста по Пречистинке до Новодевичьего монастыря, по Пятницкой от Чугунного моста до Серпуховской заставы, линию от Устьинского моста до Городской прачечной у Краснохолмского моста, линию по Калужской улице до Заставы, линию по Землянке и Андроньевке, по Мещанской от Сухаревой башни до Крестовской заставы, — и электрическую линию от Страстного монастыря по М. Дмитровке до Бутырской заставы. От Бутырской заставы до Петровско-Разумовского и от Калужской заставы до Воробьевых гор ходили паровички с вагонами, а от Сокольничьего круга до с. Богородского в летнее время ходила конка. Вот и вся нехитрая стальная паутина, которою покрывала старушка-конка Москву. Где ей сравниться с цепкою и частою трамвайной паутиной!

Сколько улиц, теперь зашумленных, zagrożенных, zagrożенных трамваями, были тихи, пусты, почти дремотны: Новая Басманная с особняками барскими и купеческими, с целыми рощами за ними, стародворянская сонная Остоженка, университетская Моховая, бойкая Мясницкая, оживленная Б. Дмитровка, купеческая Немецкая, родная улица Пушкина, захолустная 2-я Мещанская, с «Балконом» и прочими деревенскими палестинами между 1-й Мещанской и Тверской, и много других сонных провинциальных уголков Замоскворечья, Таганки, Семеновского, Рогожской, Ольховской — все они были без конок, без рельсов, без проводов и столбов!

На Театральной площади коночные линии робко жались к Китайгородской стене; огромная площадь, — песчаный, никем не пересекаемый прямоугольник, служивший для военных парадов, — была пуста; по Охотному ряду не проходила конка. На Красной площади дышали еще древней тишиной Кремлевские стены, Василий Блаженный и Лобное место: их древней дремоты не тревожил визг трамваев. Когда подняли вопрос о прокладке трамвайных путей через Красную площадь, представительница Археологического общества гр[афиня] П. С. Уварова энергично протестовала, указывая, что трамвайное движение будет колебать древние здания и порушит весь облик исторической площади. Москва разделилась: одни были за мнение графини, другие — против; однако, по настоянию графини, трамвайная линия была перенесена от Кремлевских стен, где она была сперва проложена, ближе к Верхним рядам, где находится и сейчас.

Коночные рельсы, узенькие, тоненькие, лежали не двумя параллельными путями, как линии трамвая, а всюду были в одну колею; это вызывало необходимость разъездов. Они были довольно часты. Между Земляным валом и Ильинскими воротами таковых разъездов было три: число, соответствующее числу теперешних трамвайных остановок. На этих разъездах вагон ожидал встречный вагон; там, где на перегоне предстоял подъем, на разъезде поджидал конюхофрейтор с пристяжной лошадей, обычно подросток, прямо из деревни, путавшийся в форменной шинели не по росту. Дождавшись вагона, он прицеплял к обычной паре лошадей, везших вагон, свою пристяжную, — и ехал на ней до следующего разъезда, а затем возвращался на прежний разъезд поджидать новый вагон. На линиях 1-го общества ходили двухэтажные вагоны, с открытым «империадом»

наверху, на линиях 2-го общества — вагоны одноэтажные и меньшего размера. Внутри вагонов шли две продольные скамьи для пассажиров, по 10 чел. на каждой; стоять внутри вагона запрещалось, да в этом обычно и не было нужды: мест всем хватало. Встречались на линии 2-го общества вагоны с перегораживающими внутренность вагона сиденьями. Летом по линиям 2-го общества ходили открытые вагоны с поперечными скамейками; от ветра, солнца и дождя с боков закрывались особыми парусиновыми полотнищами. Кондуктор обходил такой вагон по боковым продольным подножкам, цепляясь руками за особые скобки. На империал пускали только мужчин; одним из действительных «завоеваний» революции 1905 г. было то, что женщин пустили на империал, — впрочем, и это «завоевание» было непрочно, так как скоро после 1905 г. конки уступили место трамваям. Внутри вагона потолок был весь обклеен рекламами торговых фирм. Плата за проезд одной станции взималась внутри вагона — 5 к.; по цене это было около того, что платят теперь на трамвае (проезд примерно от Ильинских ворот до Преображенской заставы и теперь, и тогда стоил 15 к.), но дороже, чем стоил проезд на трамвае до революции 1917 г. Проезд на империале был очень дешев: за станцию брали всего 3 к., и огромное расстояние от Ильинских ворот до Преображенской заставы, стоящее теперь 15 к., обходилось всего в 9 к. На конке существовали не существующие ныне на трамваях «передаточные билеты», дающие право пересаживаться на пересекающихся линиях с одной на другую: это также делало езду более дешевой, чем теперь. Езда же эта была очень тихой ездой. Тихоходность конки была постоянным предметом острот тогдашних юмористических журналов. Мой гимназический товарищ Костя Толстов распевал превесело:

Эй, старушка конка,  
Догони цыпленка!

И суровый инспектор Корольков, — по-гимназическому «Красносиний», — слушал и не гневался, даже улыбался: безобидная сатира близка была к действительности. Тяжелый вагон, ведомый парой исхудалых лошадей, плохо кормленных, двигался настолько тихо, что мы, мальчишки 10—12 лет, с грузными ранцами за плечами, в любом месте пути могли на ходу вскочить на площадку вагона без всякой почти опасности для себя. Когда к паре подпрягали третью

форейторскую лошадь, вагон несся в гору с визгом колес, криками кучера и форейтора-мальчишки, с беспрестанным звоном колокольчика, — но, по правде говоря, во всем этом было больше гаму и зыку, чем быстрой езды, а иногда, особенно зимой, и гам и зык этот особенно не помогал, и вагон никак не мог въехать в горку. Случалось, что от излишних стараний и зыков вагон сходил с рельс, и тогда пассажиры выходили из вагона и помогали кондуктору толкать вагон на рельсы, и кучер немилосердно хлестал в это время лошадей и дергал колокольчик, а мальчишка-форейтор подсвистывал и тоже хлестал пристяжную. Ожидание на разъездах встречного вагона еще более замедляло движение конки. Хороший рядовой ходок, выйдя одновременно с выходом вагона, в одно время с ним приходил к месту, если не обгонял его минутою-двумя. Было мученье, имея малый запас времени, поспевать на конке, например, в театр — опоздание было обеспечено. Движение вагонов конки начиналось часов в 7 утра, а оканчивалось не позднее 9 1/2. В 1900 г. была сделана попытка подавать специальные вагоны к окончанию спектаклей в Императорских театрах. Не все называли конку конкой. «Я сел в вагон», — говаривали иногда. Тетушка Мария Васильевна выражалась даже: «Я села в карету». Слово «конка» так крепко вошло в обиход московской речи, что, когда перестала уже существовать, и ходил только трамвай, можно было часто услышать: «Я поехал по электрической конке». Однако, это противоречивое сочетание слов оказалось недолговечным, будучи вытеснено словом «трамвай». Столь же противоречивый «перочинный ножик», которым в наше время чинят что угодно, только не стальные перья, оказался несравненно долговечнее: с 10 — 20-х годов XIX ст. он живет до сих пор.

Конка была типичным способом сообщения тихой Москвы: самое ее существование свидетельствовало о тихом темпе московской жизни, о том, что уличного движения в Москве было несравненно меньше, оно не было таким стремительным и не захватывало таких огромных пространств. Москва была домоседнее нынешней. У москвичей была невелика «охота к перемене мест». Битком набитых вагонов и внутри, и на площадке, как теперь в трамваях, на конке почти не бывало: внутри никогда не стояли, а площадка была набита только в утренние и вечерние часы, когда служащие ехали «в город» и «из города». В обычное же время на площадке стаивали только те, кто хотел курить, да

мы, гимназисты, из особого молодечества непременно торчали на площадке. Кондуктора же усердно приглашали: «Господа, занимайте места внутри вагона!» Позже восьми часов вагоны конки были совсем пусты и оттого ехали заметно быстрее. Конка была тише трамвая не только по ходу, по пространству, на котором раздавалось повизгиванье ее колес и дзиньканье обыкновенных «валдайских» колокольчиков, но тише и по времени своей работы. В наше время в Москве в час ночи можно услышать грохочущий шум трамвая; он возобновляется около 6 часов утра, и только пять часов в сутки его не слышно. Конка же оканчивала свою работу, как я сказал, в 9 1/2 часов и до 7-ми, в течение около 10 часов, в Москве было тихо. Было множество тихих улиц, без конки; я уже перечислял некоторые из них. Трамвай, а затем линии автобусов уничтожили их тишину, загнанную теперь в самые далекие окраинные переулки и тупики.

Те, кто был посостоятельнее, но не настолько, чтобы ездить на извозчиках, могли ехать на линейках. Линейных линий было немного. Самая важная — это от Ильинских ворот, по Маросейке, Покровке и т. д. до Преображенской заставы. Ходили линейки еще в Измайловский зверинец. От Трубной площади линейки ходили в Останкино. Линейка была открытый экипаж с навесом — седоки садились на лавки с двух сторон, человек по 6 с каждой, спина к спине, 7-й мог сесть на козлы к ямщику, одетому в старинную ямщицкую одежду, с поярковой шапкой, утыканной головками павлиньих перьев, на голове, с ярким поясом, лихо перехватывавшим кафтан синего сукна. Ямщик правил парой. За проезд в линейке брали, примерно, вдвое дороже, чем за такое же расстояние на конке. Линейка трогалась в путь, когда наполнялась пассажирами. Движение по улицам было слабое. И усевшимся на место седокам приходилось немало ждать, пока линейка наполнится: они роптали на ямщика, что он не едет, грозили сойти, требовали немедленного отъезда. Ямщик успокаивал, а сам, стоя на козлах, зазывал седоков. Главной целью «зазыва» было переманить пассажиров с конки. Много блесков яркой народной речи с «московским отпечатком» здесь рассыпалось: ямщик утверждал, что конка не поедет до вечера, так как ее лошади сейчас «прикажут долго жить» — то есть попросту издохнут, что «на них напала собачья старость», клялся, что конка «поедет с кислым молоком», а он «во как прокатит седоков!». Махнув рукой на конку, к ямщику пересаживались

один-другой седок; подманив еще одного-другого из прохожих, ямщик, наконец, трогал. Ехал он, действительно, быстрее конки, а, главное, у него не было бесконечных разъездов. Кто хотел сойти с линейки, тот дергал за веревку, и ямщик в любом месте останавливал лошадей. Когда желающих ехать в линейке было много, ямщик старался втиснуть как можно больше седоков. Раздолье для ямщиков наступало тогда, когда с конкой случалась какая-нибудь катастрофа, и движение приостанавливалось или замедлялось: все устремлялись тогда на линейку, ямщик, злорадно издеваясь над конкой и над теми, кто ею всегда пользовался, заламывал несосветимые цены и так напихивал линейку седоками, что сидели чуть не на коленях друг у друга.

Зимой линейка заменялась санями. Их у нас в доме звали «узелками»; не знаю, было ли это их широкою кличкою, но кличка эта была очень верна: это были, действительно, «узелки» — широкие, емкие сани, напоминавшие формою емкий кругловатый узел. И сидеть в них было также тесновато, плотно, кучковато, как в узле. В нем было 3 сиденья по три седока на каждое. Лучше всего было сидеть на заднем сиденье с высокою спинкой, обитою ковром, на втором сиденье с низенькою спинкою седоки сидели лицом к счастливым с заднего сиденья, сидевшие на третьем сиденье, отделенном спинкою от второго, смотрели в спину ямщика, который, стоя перед ними, правил лошадьми, им было теснее и неудобнее всего. Но тесно было и всем седокам, в особенности, если у них на руках была поклажа. А люди со сколько-нибудь ценною поклажей и стремились обыкновенно ехать в узелках, если им не по средствам было нанять извозчика. Ехали как бы завязанные в узел: сиди не двигаясь. Зимой мостовые изобиловали ухабами, и случалось, ямщик, разогнав лошадей и не сдержав на ухабах, вываливал седоков из узелка в сугроб. Помню, как наша портниха Ираида Антоновна проливала слезы над узлом с платьем для сестры, выходящей замуж: она бережно на руках несла дорогой узел и, чтобы лучше сохранить его и не смять дорогой, села не в «карету» (так она называла конку), а в узелки и еще на лучшее место — на заднюю скамейку — и все шло отлично, как вдруг у самого Богоявления на Елоховской площади узелки опрокинулись в сугроб, да еще накрыли собою всех, кто в эти узелки был увязан, в том числе и «Раиду Антонну» с ее драгоценным узлом. Дети, мы очень любили ездить в узелках, но нас неохотно в них возили: «Вывалит еще!» Линейки и узелки исчезли с первым трамваем.

Извозчики в прежней Москве делились на три непохожих разряда. Небольшое число их ездило на резиновых шинах, — это были лихачи, которых можно было найти только в центре города, у вокзалов и у ресторанов. «На лихачах ездит!» — в среднем купеческом и дворянском круге Москвы это считалось нехорошей рекомендацией: «ездит на лихачах» — это значит кутит, так как ехать на лихаче в семейный дом или в город за делом, или даже в театр, никому бы из этого круга не пришло в голову. У отца был отличный месячный извозчик Андрей, отвозивший его ежедневно в город; у него была прекрасная лошадь, удобная, спокойная пролетка; сам он в синем, хорошего сукна, ямского покроя кафтане, подпоясанном красным кушаком, в черной пояровой кучерской шляпе — румяный, степенный мужик с большой рыжей бородой, — был отличный кучер, любитель хорошей быстрой езды (особенно, когда ездил с матерью), но он не был лихач и ездил на простых железных шинах, а не на резиновых. Не на резиновых ездил и другой «наш» извозчик — Степан. Этот был поплоче, помедленнее, подешевле, отличный деревенский старик с седой бородой, долгие годы извозничавший в Москве, но так и не научившийся ничему городскому: ни водке, ни куренью, ни ругани. С ним обычно посылали нас, детей, к бабушке в сопровождении няни Пелагеи Сергеевны. «На резинах» не пришло бы в голову ни отцу, ни матери поехать куда-нибудь. Женщине же из хорошей семьи и вообще невозможно было бы поехать по городу на лихаче — это просто означало бы, что она не принадлежит к числу приличных женщин. Лихач — это был способ езды, точно соответствовавший образу жизни — прожигательному или предосудительному. С проведением трамваев все московские извозчики перетянули колеса с железных на резиновые шины, а лихачи перетянули обыкновенные резиновые шины на дутые. С этого времени изменился и тип извозчицкой пролетки: появились пролетки высокие, с узким неглубоким сиденьем, на котором еле умещается двое нетолстых седоков.

Прежние московские пролетки были гораздо ниже и гораздо поместительнее, с более глубоким сиденьем, на котором легко умещалось трое не очень плотных седоков. Откидной верх был обширнее, и в него было можно накласть немало покупок, которые ловко выкрадывались оттуда уличными ворами. Бывало, мама, поехав со мною «в город», в пассаж за покупками, наказывает разумному и почтенному

Андрею: «Андрей, посматривай, пожалуйста, за покупками!» — «Будьте покойны, Настасья Васильевна», — и сидит на козлах вполуоборота к откидному верху. Если покупок было много и они были в мелких свертках, оставляли в пролетке и меня, с наказом: «посматривать!» Извозчики разрешали садиться в пролетку и троим, и четверым седокам; четвертый пристраивался на кожаном фартуке, свертанном на ремнях в сверток наподобие скамеечки, или иной раз, если извозчик был попроще, даже и на козлах с извозчиком, положив ноги к седокам. Величайшим наслаждением для нас, детей, было усесться самостоятельно на этакий фартук — скамеечку и ехать к бабушке. Извозчики ездили без таксы, цены были различные, смотря по пролетке, и сбруе, и лошади (Андрей брал дорожке Степана и не со всяким еще, бывало, поедет: не понравится седок или не внушит доверия, он, не повернув головы, отрежет: «Занят» и «Не поеду»). Различалась цена и смотря по времени, по расстоянию: в глухие места или не ехали вовсе, или брали дорожке, влияло на цену и место, откуда брали извозчика — например, от вокзалов, от театров извозчики были всегда дорожке. Назначал извозчик цену и по седоку. Но, в общем, цены были несравненно дешевле нынешних: даже в 1899 г. извозчики возили за гривенник на такое расстояние, за которое теперь возьмут не меньше 60 копеек. С извозчиком можно было торговаться, — и, как и всюду почти в Москве, никто не давал первой запрошенной цены: она всегда была с запросом.

Были у москвичей и свои приметы и наблюдения при найме извозчика. Покойная няня Пелагея Сергеевна никогда, бывало, не наймет того извозчика, лошадь у которого смотрит нам навстречу. «Этот, — скажет, — дорого возьмет: у него лошадка не в наш путь смотрит». Даже и торга не начнет с таким извозчиком, а выберет такого, у которого лошадь смотрит в ту сторону, куда мы идем. Иногда, бывало, идешь, идешь, а лошади все смотрят не по пути. Няня и скажет: «Ну, теперь, милые, и нанимать не стоит — дошли уже. Недалеко тут!»

Ночью в Москве были совсем другие извозчики, чем днем. Ни Андрей, ни Степан ночью никогда не выезжали. Последние выезды дневных извозчиков были в театры, в концерты, к вечерним поездкам. После этого они отправлялись на постоянные дворы, а с дворов этих, с окраин, выезжали смиренные «ночнички» — извозчики, ездившие с вечера до утра. Они были поплотнее дневных: лошади были не такие, как у Андрея,

мало чем уступавшие купеческим «своим лошадям» средней руки, а были это деревенские сивки, бурки, каурки, мохнатые, добродушные, приземистые, с вислыми ушками, привыкшие к сену больше, чем к овсу. Ночнички работали главным образом зимою, не имея пролеток: это были деревенские люди, или старики или подростки, отправлявшиеся в Москву на зиму извозничать в подсобье своему хлебопашескому бедному хозяйству. Плохонькие санки, деревенская сбруишка, лян-ляные извозчичьи халатишки, — и, в соответствии с этим, была и езда — тихая, деревенская, с жалостью к «скотинке». И брали они дешевле дневных извозчиков. Седок не обижался на тишость езды, на немудреность кучеров, плоховато знавших город, на плохоту санок, сбруи, да и самой лошадки, немало потрудившейся за лето и осень в деревенскую страду; спешить особенно было некуда, — да и хорошо помнилась и седоком, и возницей, а может быть, и самой лошадкой, мудрая пословица: тише едешь, дальше будешь. Ни трамвай, ни автомобили не пугали лошадок — улицы ночью были тихи и пустынные. Если был мороз, на площадях и на «курьих ножках», — то есть на перекрестках улиц и переулков, пылали костры, ухабы тускло и белесо обозначались под светом луны (почему-то зимою казалось, что луна так и не сходит с неба, все светит), или при тусклом рыжеватом свете копящихся керосиновых, а на главных улицах — и газовых фонарей. При этих ухабах, право, оказывалось иногда верным, что «тише едешь, дальше будешь». Я любил ездить на этих «ночничках», точь-в-точь таких, какого Чехов любяще увековечил в трогательном рассказе «Тоска», — и нанимал, бывало, самого немудрящего из немудреных. Путь далек; едешь полчаса, а то и боле, — и много, много, бывало, услышишь от него рассказов про деревню, про бедность, про маету и отраду крестьянской жизни, — услышишь такого, что нужно было слышать молодой совести и открытому юношескому сердцу. Лошадка трусит легонькой трусцой, моргая умными, кроткими глазами, а возница, если не начинаешь разговора сам, непременно завяжет разговор каким-нибудь вопросом, иногда деревенски-наивным, а иногда и умно-участливым к седоку. Ответишь — и пошел разговор до самого дому. «Прощайте, барин. Счастливо оставаться! — скажет, бывало, такой возница-ночничок, получая деньги, а иногда попросит: — Прибавили бы что-нибудь. Заехал бы погреться за ваше здоровье. Озяб». И прибавишь, не считая. Иногда такой ночничок ездил с определенной целью: «выездить» на лошадь, на корову, на пода-

ти, — и обо всем этом узнавал седок, и что-то человеческое завязывалось между ездоком, возницей и лошадкой. Представлялось живо, что на постоялом дворе он побеседует еще со своим кауркой об этом самом седоке, с которым беседует сейчас, пока каурка плетется с Театральной площади в Гавриков переулок. И не хотелось получить плохое кауркино мнение о себе, требуя «подгонять!» — и ехали тихо, как-то душевно, по-домашнему беседуя, — будто и не по Москве ехали, и не после «Двенадцатой ночи» в Охотничьем клубе, со спектакля Общества любителей искусства и литературы, зародыша Художественного театра.

Какой разговор может быть с кожаным шофером такси, с мертвым мотором вместо живой сивки? Нанял, сел, доехал, заплатил, — вот и все. Все стало механичнее и гораздо беднее «человеческим», — тем самым необходимейшим для бытия «человеческим», которое хоть на полчаса в морозную московскую ночь объединяло в один человеческий комок сивку и деда из Калужской губ. с их седоком-москвичом — профессором, студентом, купцом. «Не все, — скажут, может быть, на это, — разговаривали с этими сивками и дедами и не все слушали их невеселые деревенские повести, — как это и Чехов показал в своем рассказе». Не все. Но какое-нибудь слово перепало же в душу или в совесть из этих наших разговоров, да и у Чехова, в его грустном рассказе, осиротелый старик-извозчик, ночничок Иона, все-таки нашел себе, в конце концов, собеседника — своего же Сивка. Шофер в положении Ионы вряд ли стал бы беседовать с бездушным мотором!

У вокзалов и на немногих площадях (Лубянская, например) стояли для найма кареты и коляски, запряженные парюю. Когда мы собирались переезжать на дачу в Сокольники, посылали к знаменитому содержателю экипажей Ечкину за линейкой, и когда на Пасхе ехали на кладбище, посылали за коляской. У Ечкиных и других каретников брали кареты и для свадебного поезда. Невесту везли в раззолоченной карете, — грубоватом подражании придворным каретам, — с сиденьями и стенками, обитыми розовым и белым шелком, с огромными зеркальными фонарями. Многие бедные невесты, выходя замуж, ставили жениху условие: «Чтобы была золотая карета!» — хотя бы от дома до церкви было нужно только переехать улицу. И женихи считали это требование неотменно справедливым и старались его исполнить. «Она в золотой карете венчалась!» — Это была аттестация на всю жизнь, хотя бы всю жизнь заведомо предстояло бывшей невесте ходить пешком.

Перед началом спектаклей развозили в каретах актрис в театры, и обычай этот был так крепок, что вплоть до революции 1917 г. даже при устройстве благотворительных концертов за актрисами непременно посылали кареты, вытесненные автомобилями. В каретах, ландо и колясках разъезжали представители высших дворянских кругов и даже именитого купечества. Мама помнила такую сцену с участием коляски. Знаменитому откупщику-славянофилу В. А. Кокореву, московскому богачу, случилось потерять значительную часть своего состояния. Ему грозило полное разорение. Это стало всем известно, недавние прихлебатели, приятели и друзья сразу же отвернулись от него; многие перестали даже кланяться. Однако Кокореву удалось поправить дела и вернуть с избытком потерянное было состояние. Молва быстро разнесла об этом весть по «городу». Кокорев велел заложить великолепную коляску и на чудесных рысках в яблоках медленно проезжал по Ильинке, Никольской, Варварке, по самым торговым улицам. Все наперебой спешили приветствовать его почтительными поклонами. Кокорев любезно и исправно отдавал поклоны на две стороны, но не наклоном головы, а наклоном туго набитого мешка с надписью «200 000 руб.», который держал у себя на коленях и которым кивал то направо, то налево. Москва долго помнила этот кокоревский выезд на коляске. Собственная коляска же участвовала в подвигах купеческого сына Василия Ивановича Еремеева, о которых речь впереди. 1-го мая в Сокольниках — по Майскому просеку — и в Петровском парке, а в Вербное воскресенье на Красной площади происходил как бы смотр московским экипажам: на майское и вербное гулянья выезжали барские и купеческие выезды в отличных экипажах, на породистых рысках, с кучерами, устраивавшими себе непомерно толстые ватные зады. Катались медленно, почти шагом, — это был именно показ экипажей, упряжи и лошадей. Среди обыкновенных лошадей и экипажей попадались пони, везшие колясочки с детьми. В Прощеное воскресенье бывало купеческое катанье на санях в Таганке: тут был смотр не только саней и лошадей, но и полостей, медвежьих, волчьих, лисьих, и великолепных салопов и ротонд купчих, крытых светлым бархатом, с чернобурыми лисьими воротниками или большими пелеринами. На Каретном ряду, на Покровке, между Земляным валом и Покровскими воротами, на Кузнецкой в Замоскворечье было много огромных, сараеобразных

каретных магазинов. Все они исчезли вместе с каретами и колясками при появлении автомобиля. Исчезли и гулянья — катанья в Сокольниках, Петровском парке и на Вербном торгу.

Последними каретами, дожившими до революции, были те огромные, особые кареты, в которых возили по городу для молебствий на дому тяжелые чудотворные иконы: Иверскую, Боголюбскую, Спасителя от Москворецкого моста, Николая Чудотворца из часовни с Никольской, мощи целителя Пантелеимона и др. святых из Афонской часовни, святых Успенского собора и др. Боголюбскую икону, очень высокую, с полукруглым верхом, возили в особой карете, соответствовавшей высоте и тяжести и форме иконы. Карета эта стояла всегда у каретников Ечкиных на Покровке. Грузная карета, в которой возили самую чтимую из этих икон, Иверскую, была известна всей Москве; покойный Серов оставил ее рисунок. Карета была массивная, тяжелая, с высокими дверцами. Икону ставили туда, где в обычных каретах бывает переднее сиденье. Перед иконой горела свеча в особом переносном фонаре, носимом за крестными ходами. Иеромонах в ризе и другой монах за псаломщика помещались на заднем сиденье, лицом к иконе. На запятках стоял прислужник, в монашеском полукафтани, без шапки, но с головой, повязанной теплым шарфом. Таким же шарфом была повязана голова кучера. В карету впрягали шесть лошадей: четыре коренные и впереди две пристяжные с мальчиком-форейтором с головою, повязанною шерстью. На дверцах кареты, помню, была какая-то священная эмблема; на дверце кареты Николая Чудотворца, точно помню, была изображена архиерейская митра над скрещенными дикирием и трикирием<sup>12</sup>.

Когда известная всей Москве карета Иверской Б[ожией] М[атери] ехала днем ли или глубокой ночью по улицам Москвы, все снимали шапки и крестились. Ездил же она непрерывно весь год, день и ночь, привозя икону в часовню у Воскресенских ворот только к 1 часу ночи, к ночному «общему молебну»; икона оставалась в часовне только до 7 часов утра и после утреннего общего молебна опять увозима была в карете для домашних молебнов по всей Москве. В революцию 1905 г. карета с Иверской случайно попала в район революционных действий и по чьему-то глупому приказу, растерявшегося ли иеромонаха или какого-нибудь рачительного полицейского, вместо того, чтобы быстро выехать из района революционных действий, карета с чтимой иконой

завезли, как в тихое пристанище, на двор какой-то полицейской части и оставили там до утра. Это дало повод революционерам, да и не только им одним, говорить, что московская полиция самое Иверскую Божию Матерь отправила в часть.

Автомобиль появился после революции 1905 г. Даже в 1909-м их было еще немного в Москве, — главным образом у богатых людей из торгового и биржевого мира. Дворянство оставалось верно каретам и коляскам. Наемных автомобилей еще не было. Автомобиль принес шум и дым на московские улицы — и множество несчастных случаев. Помню, в 1909 г. мы с художником Л. О. Пастернаком выходили из Благородного собрания с одного из первых концертов Кусевицкого<sup>13</sup>. Ряд автомобилей ожидал своих владельцев, бывших на входивших в моду концертах. Пастернак неприязненно посмотрел на них и сказал: «Посмотрите, дрожат от нетерпения и в ожидании портят воздух!»

В 1909 г. летом состоялись в Москве первые полеты на аэроплане французского летчика Леганье, а с 1924 г. появились первые автобусы. Москва становилась все шумнее и шумнее — с торжеством механических двигателей.

Зашумели автомобилями, мотоциклетами, автобусами, трамваями ее улицы, — и сверху, с неба, стал доноситься все назойливее и чаще трескучий цокот вредительных и мирных стрекоз — аэропланов. Самое грохочущее, что было на улицах прежней Москвы — ломовики, которые не имели права езды по лучшим улицам, заменилось не более тихим, а еще более громким и к тому же зловонным — огромными, безобразными грузовыми автомобилями, отравляющими воздух целыми залпами бензинного дыма. Ломовые были, по крайней мере, бездымны.

В прежней Москве было тихо не только потому, что было мало уличного движения, не громыхали еще трамваи и не кричали своими истерическими голосами автомобили, а еще и оттого было тихо, что у московской тишины были свои излюбленные места, разбросанные по всему городу, где эта тишина до того была не пугана, до того сгущалась, что можно было воскликнуть с Ибсеном: «Слушай, как говорит молчание!» Были целые кварталы, целые районы тишины, и в каждом из них была своя, особая тишина, по-своему, по-особому ненарушимая. Между Никитской, Арбатом, Пречистенкой и Остоженкой была тишина дворянская, с мягкой усадебной грустью доживающих век деревянных особняков, с колоннами и гербами, «со львами на воротах»,

отмеченными еще Пушкиным, с липовыми садами и палисадниками из сирени и жасмина; по Поварской, по Сивцеву Вражку, по переулкам вроде Ст[аро]конюшенного или Столового езды транспорта было не больше, чем по какой-нибудь Дворянской улице в каком-нибудь «дворянском гнезде» вроде Симбирска. И езда эта была — не современный громыхающий автотранспорт, от которого пугливо дрожат старые московские церковки, а настоящая, легкая «дворянская» езда на своих лошадях.

В Замоскворечье, в Таганке, в Елохове жила купеческая тишина — ей было привольно и укромно в огромных густых садах, в тихих владениях-усадебках с поросшими травой дворами, — такими обширными и пустынными, что в них иногда бывали целые прудики. Огромное пространство между улицами Новой Басманной, Ольховской и Елоховской площадью, перерезанное ныне двумя длинными улицами, застроенными домами, было одним сплошным садом с вековыми деревьями и с целыми двумя прудами. Зайдя в это владение с Елоховской площади, мы, гимназисты, бывало, бродим, бродим по нему до усталости. Охотники до купанья купаются в пруду, другие играют в индейцев, благо были тут пруды, болотца, высокие деревья и протекала даже речка Синичка, спрятанная в трубы только при пересечении ею мостовых. Сидя на заборе, Барабошкин, будущий доктор медицины, георгиевский кавалер, а тогда — нечто вроде чеховского «Монтигомо Ястребиного Когтя» — приглашает зловещим шепотом Дубенского, будущего эффектного адвоката: «Бледнолицый брат мой, давай подстрелим кагуара!» Кагуар был какой-нибудь полудикий рыжий кот, охотящийся в пустырях за птицами. Нагулявшись, наохотившись на кагуаров, мы, перелезши через забор, спрыгивали на пожарный двор Басманной части и спокойно шествовали длинным двором мимо пожарных, и никто из полицейских или городских, дежуривших около арестного дома, и не думал нас остановить, и мы свободно выходили на Новую Басманную.

Иногда брали мы обратное направление и из садов перелезали на безлюдную Ольховскую. Это огромное пространство было так пустынно, будто никому не принадлежало; летом приходили туда погулять мастеровые, заходили няньки с детьми, вечером бродили какие-нибудь влюбленные парочки — места для всех было достаточно. Перед революцией 1905 г. ходили мы туда обсуждать свои революционные

планы и замыслы. И до сих пор я не знаю, кто был хозяин этих огромных пространств — вход туда всякому был свободен, а населено это пространство было только по окраинам, были какие-то дома, выходящие на Н[овую] Басманную и Елоховскую да заборы на Ольховскую. Таких пространств с тишиною, если не деревенскою, то захолустно-уездною, в Москве было множество, и в местностях далеко не захолустных, как видно из приведенного примера. Наш дом, где я родился и вырос, был в Плетешках, в минуте ходьбы от Елоховской, по которой ходила конка и ездили линейки; поверит ли кто теперь, что в наш сад, далеко не на окраине Москвы, каждый год прилетали весной соловьи и пели весь май в кустах сирени! Отец, приехав из «городу», сядет, бывало, вечером на балконе, выходящем в цветущий сад, вдыхает аромат яблонь, вишен и сирени и слушает, как щелкает соловей у нас в саду и в соседнем, более запущенном саду старого барина Макиеровского, предков которого писал Боровиковский<sup>14</sup>. И других птичек в саду было множество!

В Замоскворечье было немало переулков и даже улиц, где заборы тянулись непрерывными лентами и из них свешивались на улицу пахучие в цвету ветви лип, легкие ажурные кружева берез, а иногда и темные лапы елей собирались остановить редкого прохожего и завлечь в зеленую тишину сада. Весной над таким переулком стоял чудесный запах цветения, и веселая древесная тень перекрывала тротуар и часть мостовой. Некоторые купеческие сады, например, Найденовых подле Яузы, были огромны — это были настоящие парки и рощи, вкрапленные в Москву. В иные частные сады пускали гулять всех, кто хочет.

Наряду с купеческой была церковная тишина: вокруг большинства церквей были так называемые «монастыри», то есть обнесенные оградой незастроенные пространства, с зеленой травой, с целыми рощицами старых деревьев. В них ютились только невысокие деревянные с мезонинами «поповки» — домики причта. Никаких чужих строений не было. «Монастыри» были любимым местом гулянья для нянек с детьми: так там было зелено, тихо и чинно! Такой «монастырь» сохранился доньше вокруг церкви Никиты Мученика на Ст[арой] Басманной: с детства мы ходили туда гулять, а когда были гимназистами, там устраивались «бои» между гимназистами 4-й гимназии и реалистами немецкого училища св. Михаила.

«Монастыри» московских церквей — остатки старых кладбищ, бывших до самого конца XVIII века при каждой

приходской церкви. Только после чумы 1772 г. было запрещено хоронить покойников в ограде церквей. На многих «монастырях» еще сохранялись могилы. За алтарем нашей приходской церкви Богоявления в Елохове под липами стоял чей-то простой деревянный крест, точь-в-точь как на каком-нибудь далеком деревенском кладбище. Никто не знал, чей он был, и, маленький, я загадывал, бывало, кто лежит здесь под липами в зелени такой высокой травы. «Монастыри» вокруг церквей сохранялись даже в самом центре города. Небольшой зеленый с березами монастырек был и вокруг церкви Введения Божией Матери на углу Кузнецкого моста и Большой Лубянки, уничтоженной в 1924 г., и сквер против теперешнего памятника Воровскому образовался из деревьев этого «монастырька». «Монастырьки» эти придавали особую красоту московским церквям: они их обособляли от остальных построек, делали как бы древними островками среди современного моря, своею зеленью оттеняли белизну и золото церковок. Каждая церковь, благодаря «монастырькам», была доступна с любой точки, — и таким образом, ярко открывалась архитектурная красота церкви. Сохранившийся «монастырь» Никиты Мученика — прекрасный тому пример: великолепный архитектурный ансамбль церкви, колокольни и пышной ограды в стиле Елизаветинского барокко, созданный знаменитым архитектором Ухтомским, открыт отовсюду и оттого вдвойне прекрасен. «Монастырьки» вокруг древних церквей сохраняли куски царской Москвы XVI—XVII ст., это были одни из лучших кусков того архитектурного пейзажа, которым славилась Москва и который так восхищал в ней иностранцев. Первыми, кто начал разрушать эти «монастырьки», были сами церковные причты: после японской войны их обуяла жадность к строительству доходных домов, и безобразными 3—5—6-этажными коробками они загромождали многие «монастырьки», закрыв и спрятав старинные церкви первостепенного архитектурного значения. Самый яркий пример гибельности такого уничтожения «монастырька» представляет церковь Рождества Богородицы в Путинках, на углу М. Дмитровка и Страстного бульвара. Этот знаменитый памятник шатровой архитектуры Московской Руси закрыт ныне домами, и нет уже надлежащей точки, с которой открывалось бы все своеобразие и красота его легкой и воздушной архитектуры. Причт церкви, уничтожив «монастырек», построил на его месте огромный доходный дом, задавивший свою безобразную громадою маленькую хрупкую

церковь. Пройдет еще немного времени — и все монастырьки при церквах исчезнут (в значительной части вместе с самими церквями) — и вместе с этим исчезнет одна из очаровательнейших особенностей московского пейзажа и будет вырвано из книги прошлого Москвы несколько десятков интереснейших страниц.

Против самой церкви Никиты Мученика был дом купца Рожкова, он был старостой этой церкви. Случилась у него в доме свадьба, и было решено, что молодые из церкви домой не поедут в карете, а перейдут через улицу в торжественном свадебном шествии по розовой шелковой дорожке, перекинутой через мостовую с паперти в дом Рожкова. Так и было сделано: молодые с провожатыми торжественно проследовали по розовому атласу через мостовую. А уличное движение, еле-еле струившееся, на несколько минут позадержалось. Это было [нрзб]. Вероятно, околоточному за это немного досталось от начальства\*.

Церковная тишина, которой предстоит скоро исчезнуть из Москвы, была не на одних только «монастырьках» вокруг ее приходских церквей: ее слагаемыми были и 22 московских монастыря, расположенных по всей Москве от центра до окраин: окруженные высокими стенами, немногочленные, замкнутые, наполненные стариной. Они были вместилищем стойкой, неуходной тишины, и достаточно было войти, например, с шумной Петровки в ворота Высокопетровского монастыря или с оживленного торгового Златоустинского переулка внутрь Златоустинского монастыря, чтобы сразу почувствовать зеленую дрему старой, старой тишины, веками накопленной за этими стенами, вокруг этих древних соборов, таких малолюдных в эти будние дни. И вековые деревья шумели там с особою уверенностью, что никто их не срубит, никто не прервет их столетней жизни. Срубили их в год 1919-й, когда Москва леденела без дров, без угля, без топлива.

Самая стойкая вековая тишина обитала в самом центре Москвы — в Кремле. До революции 1905 г. пятеро ворот, ведущих в Кремль, были открыты для свободного прохода и проезда день и ночь\*\*, около них не было никаких часовых.

---

\* По Ст[арой] Басманной ходила конка и ездили линейки, но улица была настолько тиха и малолюдна, что можно было устроить на ней такую штуку. (Примеч. С. Н. Дурьлина.)

\*\* Тайнинские ворота от Москвы-реки всегда служили только для прохода. (Примеч. С. Н. Дурьлина.)

Ворота оставались открыты для свободного прохода и проезда через Кремль даже во время пребывания в Кремле государя. Так было и в 1900-м, и в 1903-м, когда царь проводил в Кремле Страстную и Пасху. Не запирался Кремль и в 1912 г. во время торжеств по случаю столетия 12-го года. После 1905 г. остались заперты навсегда Тайнинские ворота, а другие ворота для проезда через Кремль стали запираются на ночь, с 12 ч. ночи. Однако калитки в Троицких и Никольских воротах всегда оставались открыты и богомольцы свободно проходили к утрени, начинавшейся в Успенском соборе в 3 ч. у[тра] по древнему обычаю. Кремль всегда был открыт, но в будние дни там всегда было пустынно и тихо. Город своей житейской суетой заплескивал только ту небольшую часть Кремля, где были здания Окружного суда и казармы, но к 3 часам дня оканчивалось присутствие в суде, — и кремлевская тишина заливала и это пространство между Никольскими и Троицкими воротами. На исторической площади между соборами было не шумнее, чем в самих соборах, полутемных, прохладных, наполненных молитвенною тишиною. Только в 12 часов и еще в немногие определенные, редкие сроки проходила смена караула перед Грановитую палатой, и бой барабана на краткие минуты нарушал соборную тишину. Мимо дворца и Ивана Великого из Боровицких ворот в Спасские или из Никольских в Троицкие проезжали нечастые легковые извозчики — это и была вся езда. Никаких учреждений, кроме Суда, Синодальной конторы и казарм, в Кремле не было — некому было и идти туда «по делу». В Кремль шли молиться Богу и обозревать древности. Этих людей зачаровывала древняя тишина Кремля и делала тихими. Шумных экскурсий с десятками и сотнями участников тогда и в помине не было.

На Соборной площади у Ивана Великого, подле Успенского собора, на ступеньках высокой паперти Чудова монастыря можно было всегда найти богомольцев, пришедших на поклонение кремлевским святыням со всех концов Руси. Это была крестьянская Русь, забредшая в Москву зачастую пешком, с котомками за плечами, в чистых льняных онучах, в липовых лаптях, — благообразная, тихая, страждущая и благодарная. Для нее Москва была не город с университетом, железными дорогами, кипучей торговлей, огромными фабриками, а город святынь, град Богоматери и московских угодников: Петра, Алексия, Ионы и Филиппа. Эти богомольцы с проселочных дорог приносили с собою из заволжских

лесов, из черноземных заокских полей особую миротворную тишину русской деревни и сливали ее в древнюю тишину Кремля. Я еще в раннем детстве с каким-то особым душевным влечением приглядывался к этим богомольцам в Кремле. С детства, как только научился читать, я хорошо знал по путеводителю историю Кремля и его святынь. Еще мальчиком случалось объяснять что-нибудь калужскому какому-нибудь деду или вологодской старушке, благоговейно терявшимся в величавом сумраке Успенского или Архангельского собора. Богомолец, мужик с котомкой, седой странник-крестьянин в белых онучах были такими постоянными фигурами Кремля, что их заметил даже чужестранец. Когда в начале 1914 г. Москву посетил Г. Уэллс, он так был поражен суровой религиозной красотой странника-крестьянина, которого увидел молящимся в сумраке Успенского собора, что отвел ему самое восторженное место в своем восторженном очерке Москвы, которое тогда же напечатал в «Русских ведомостях». В очерке этом, по тону и содержанию совершенно несозвучном суховатой, щепетильно-рационалистической профессорской газете, знаменитый романист утверждал, что народная Россия «полна веры», что «вера, как мирра, каплет» отовсюду на Руси. Нигде в мире нет этой прекрасной мирры веры. Это были впечатления от Успенского собора, Кремля и богомольцев, пришедших туда за сотни верст\*. Этот богомолец московский исчез из Кремля только тогда, когда летом 1918 г. окончательно замкнуты были его ворота.

После обеден в Кремле появлялись приезжие провинциалы и иностранцы, желавшие осмотреть достопримечательности. Соборы закрывались после вечерни. До этого времени они были открыты для всех. Сторожа соборов в особых суконных кафтанах показывали достопримечательности, сопровождая показывание фантастическими зачастую объяснениями. Непременно указывали в Грановитой палате в стене, примыкающей к собору Спаса, за золотую решеткой окно, из которого упал будто бы на площадь Гришка Отрепьев. Подводя к древней иконе, непременно поясняли: «Риза — чистого серебра, весит столько-то пудов, стоимости в столько-то рублей». И вес, и цена всегда были преувеличены из особого

---

\* Замечательный очерк Уэллса я привел в отрывке в моей книжке «Лик России» (Книгоиздательство «Творческая мысль». М., 1916). (Примеч. С. Н. Дурылина.)

патриотизма. В объяснениях огромную роль играл Иван Грозный. Сторожа хорошо учитывали одно обстоятельство. Для иностранцев только два имени в русской истории были хорошо знакомы — Грозный и Петр Великий. Но с Петром в Кремле ничего не связано, зато Грозному приписывались сторожами чуть не все достопамятности, и он являлся участником чуть ли не всех исторических событий, случившихся в Кремле — и иностранцы, слышав знакомое имя, сочувственно улыбались и кивали головами: «Oui, oui, Jean le Terrible». Того только и надобно было.

Помню, в 1909 г. пришлось показывать собор Василия Блаженного одному профессору Оксфордского университета. Разговор у нас с ним шел то по-немецки, то по-французски. Я был в затруднении, как объяснить протестанту-европейцу этот греко-православный праздник, которого нет ни у протестантов, ни у католиков. Сторож соборный, следовавший за нами и принимавший мои объяснения англичанину за незаконное присвоение собственных его неотъемлемых прав, решительно выдвинулся вперед, взял англичанина за рукав и, указав на иконостас Покровского придела, молвил громко и внушительно; «Мусье, се шатель сен Вазиль, где молился царь Жан Терибль». Услышав «Жан Терибль», англичанин сочувственно закивал головой, — и сторож не без язвинки заметил мне: «Они поняли. Я им объяснил-с».

После вечерен, когда запирались соборы (в них служились утрени вместо всенощных), Кремль пустел, и только бой Спасских часов, отбивавших четверти часа, а в 12 часов вызваивавших «Коль славен наш Господь в Сионе», не нарушал, а еще более углублял, казалось, эту тишину, давал ей голос, меланхолический и дальний. Так тишина, накопленная веками, связанная с двухсотлетним вдовством «порфиноносной вдовы», жила в самом центре города, рядом с кипучими торговыми Ильинкой и Никольской. Москвичи любили повторять изречение Александра III: «Москва — храм России, а Кремль — алтарь его». Если в храме всегда тихо, то алтарь — самое тихое место храма.

Если так тихо было в алтаре и храме Москвы, то не шумнее было в ее притворах, на окраинах. «Шумели» там только отдельные островки-заводы: Гужон за Рогожской заставой, Бромлей у Калужской заставы, Прохоровская мануфактура на Пресне и другие, — но островки эти были именно «за заставой», то есть уже не в Москве: Москва еще не слилась с ними, как теперь. Целые огромные прост-

ранства садов, рощ, парков, прудов, речек, даже болотцев вмещались на этих окраинах. Поверит ли кто теперь, что железнодорожное движение по Северной дороге было так мало, что там, где теперь целые паутины путей, целые дебри вагонов, там еще недавно, в начале 900-х гг., под боком у Троицкого вокзала был большой Красный пруд, и рабочие железнодорожных мастерских катались на лодках в праздничные дни, и засыпан он был уже около 1905 г.

Между путями Рязанской железной дороги и Сокольническим и Стромынским шоссе, где теперь бесчисленные Сокольничьи улицы с однотипными двухэтажными деревянными домами и огромная Сокольничья больница, было раскинуто огромное Сокольничье поле — с буераками, ямами, колдобинами, прудами, оврагами, поросшее травой, бурьяном и кустарником. Еще в начале 900-х от Покровской общины на Покровской ул. можно было через большую рощу, где отдельными домиками раскинулся летний лагерь кадетского корпуса, пройти настоящим полем, шагая через овраги и обходя прудики, и выйти на Ермаковскую улицу, прямо в Сокольничью рощу. В 1898 г. мы жили на даче в селе Богородском. Между ним и Преображенской заставой тянулся Камер-Коллежский вал — настоящий песчаный высокий вал, и место кругом было незаселено и пустынно. Теперь между Богородским, Черкизовым и Благушей вся местность густо заселена, а чрез Измайловский зверинец она смыкается с Рогожскими и Новой деревней. Сокольники, за исключением небольшого и в летнее время шумного Старого гулянья, были тихим лесным полуостровом, с небольшим числом дач, с пустынными просеками и дорожками; в Сокольничью и Оленью рощу забегали лоси из Лосино полуострова, еще не перерезанного Окружной дорогой и не обезображенного дачами и хищническими порубками во время революции, обиловавшего лосями, которых всех перебили в революционное время окрестные мужики. До урагана 1903 г. жива была еще Анненгофская роща. Огромные пустые пространства были в Сущеве, на «Балконе», в местах бывшего знаменитого Старого Эрмитажа времен Лентовского.

Вместо шумного кольца Окружной дороги Москву окружали настоящие поля тишины и зелени. Поля эти почти не были нарушаемы до самой японской войны. Иногда и самая шумная улица в Москве получала перемычку тишины. Не редкость было встретить на улице через всю ее ширину от тротуара до тротуара сплошной густой настил соломы.

Громыханье экипажа по булыжной мостовой вдруг сменялось здесь тишиной. Это значило, что в доме, перед которым лежит такой соломенный настил на мостовой, находится кто-нибудь тяжелобольной, нуждающийся в полной тишине.

Современным гражданским праздникам соответствовали в прежней Москве «царские дни». И число их приблизительно равнялось числу революционных праздников. При Александре III их было четыре — дни рождения и именин («тезоименитства») императора, императрицы, [но] не наследника, при Николае II стало шесть — прибавилась вдовствующая императрица. Но дни эти, если они не совпали с праздником сами по себе, как, например, именины Николая II, приходились на зимнего Николу, никак не праздновались. В то время как в дни современных гражданских праздников происходят сотни тысяч демонстрации и шествия на улицах, мчатся автомобили, маршируют солдаты, на улицах шум и движение, — царские дни проходили как будни: воинский парад бывал в один или два из них, по случаю праздника на улицу никто не выходил, чиновники казенных учреждений и учащиеся просто сидели дома, отдыхая, в городе же шла обычная торговля. К торжественному богослужению являлись в собор только самые важные чиновные лица в городе. В приходских церквях в царские дни служили обедни, а перед ними всенощные, но церкви были пусты. Ни от кого не требовалось ходить к этим службам. И в этом отношении Москва была тише: улицы ее не видели тогда никаких прохождений толпы. Если не считать студенческих волнений 1901 г., первая уличная демонстрация произошла в Москве 5 декабря 1904 г. Проходили по улицам Москвы время от времени в положенные сроки крестные ходы из Кремля и из приходских церквей, но это были тихие ходы, не сгонявшие тишину с московских улиц, хотя и были они многолюдны.

И Пасха, и Рождество не справлялись особенно шумно. Самыми шумными днями были в прежней Москве, пожалуй, последние дни масленицы и Прощеное воскресенье. Шумели гуляния на Девичьем поле, а впоследствии за Пресненской заставой. На улицах было много пьяных, поющих и подпевающих. Было много масленичной езды — веселой, безалаберной; тройки с бубенчиками мчались за город — знаменитые московские тройки, сохранившиеся еще со времен поэтов быстрой русской езды — Орловского и кн. Вяземского<sup>15</sup>. На следующий день, в Чистый понедельник, все утиhalo.

Вместо теперешних 30-ти театров, в Москве 90-х годов их было 9; не было, конечно, ни одного кинематографа (они появились после революции 1905 г.) — легко судить, насколько меньше было в Москве вечерней уличной суеты, ежедневно предшествующей началу вечерних представлений. По субботам, под все двенадцатые праздники, в первые дни Пасхи и Рождества, в день Ивана Предтечи и Воздвижения никаких спектаклей не было. Не было спектаклей и в течение всего Великого поста: на это время закрывались все театры, и спектакли бывали только Итальянской оперы или другой какой-нибудь нерусской труппы. Только с осени 1900 г. было разрешено частным театрам давать представления по субботам и на второй, третьей, пятой и шестой неделях Великого поста, и я помню, как мы собирались на «Демона» в частную оперу Солодовниковского театра, шедшую в первую такую субботу, — и как казалось странно: в субботу идти в театр. Императорские театры стали играть по субботам и Великим постом уже только после 1905 г. До самой революции 1917 г., однако, ни один театр не играл под двенадцатые праздники, в Воздвижение, в Иванов день и на первой, четвертой и седьмой (Страстная) неделях Великого поста. И здесь тишины и отдыха актерам было больше в прежней Москве.

Несравненно меньше было и художественных выставок. На Пасху открывалась очередная Передвижная выставка; были еще выставки периодические московского товарищества и петербургских художников.

При меньшем количестве театров, концертов, выставок, при отсутствии кинематографов Москва тише проводила свои вечера и раньше ложилась спать.

При отсутствии автомобилей, при меньшем окружении железнодорожным кольцом, тише были ее ночи. И внутрь домов и квартир меньше проникал шум извне: не дребезжали назойливо звонки телефонов, они были в редких только домах, а о радио и речи не было. Москва была тихая, и ничто так хорошо не показывало ее тихости сравнительно с современным шумом, как то, что пугливые соловьи пели не только во многих московских садах, дворянских и купеческих, но и в Кремлевском саду. Под горой у Тайнинских ворот петь было также хорошо и непугано привольно, как в какой-нибудь орловской липовой аллее или тенистом ольшанике извилистой среднерусской речки.

И Лермонтов, и народные песни и поговорки правы, называя Москву златоглавой: она такую и была.

Первое, что видел из окна вагона всякий, подъезжавший к Москве, — была огромная золотая глава Храма Христа Спасителя. Даже в пасмурные дни сверкало ее золото, когда путники были еще за несколько верст от Москвы; в ясные же дни солнечные лучи, ударяя в огромную главу, делали ее ослепительной, плавили ее золото до белого огня. Глава эта осталась, видит ее и теперь всякий, подъезжающий к Москве, но златоглавою Москва перестала быть. За десятилетие революции потускнели до черноты золотые главы кремлевских соборов и уже не «в шапке золота литого» стоит древний великан Ивана Великого, а в черной хмурой скуфье\*.

Ключевский говорит в своем «Курсе русской истории», что нельзя себе представить среднерусского пейзажа без того, чтобы где-нибудь поблизости или на горизонте не зеленел хоть небольшой лесок. Совершенно также нельзя себе было представить уголка Москвы, чтобы откуда-нибудь из-за зеленых кровель, уютных мезонинчиков и кудреватой зелени садов не выглядывала «золотая голова» какой-нибудь древней церковки. Этого не было ни в одном городе России. Над Петербургом тускнеет один мрачный Исаакий, и золотой купол Храма Воскресения на крови кажется ошибкою — капля сусального золота, случайно капнувшая на сумрачно-строгий офорт «Петра творения». В Киеве только один Михайловский монастырь и преданием определен как «Златоверхий». Ни Новгород, ни Ростов, ни Ярославль не «златоглавы»: они белоглавы, синеглавы, среброглавы, но не златоглавы. В Москве две высшие архитектурные точки, господствовавшие над городом, — Иван Великий и Храм Христа Спасителя — сияли, были настоящие «шапки золота литого»: к ним присоединялась третья огромная «шапка» на окраине — золотой купол колокольни Симонова монастыря, превышавшей высотой даже Ивана Великого. А ниже

---

\* Когда я ребенком 8—9 лет впервые прочел «Два великана» Лермонтова, то для меня «В шапке золота литого старый русский великан» был Иван Великий, древний, белый, великий — и с золотой головой. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

их по огромному пространству города, в купах зелени, в белизне зданий были разбросаны большие и малые шапки, шапочки, шатры и уборы «золота литого». С Воробьевых гор в солнечный день на Москву было радостно и больно смотреть: радостно — от великолепных осколков солнца, сияющих там и тут, близко и далеко, над зеленью и белизною, и больно глазам от нестерпимо яркой игры этого золота, щедрыми пригоршнями разбросанного по всему городу. Зеленая и ярко-белая оправа еще сильнее подчеркивала ослепительную и мощную игру этого золота. Иностранцы, попадавшие в Москву и в 20-х, и в 80-х, и в 90-х годах, неизменно приходили в восторг от этих сияющих червонцев, разбросанных по Москве под игру среднерусского солнца.

Москвичи любили эти «золотые главы». Каждое лето можно было видеть, как та или другая «глава» золотится мастерами. Для этого главы обшивали деревянными лесами, покрытыми сверху и по бокам прочным брезентом, и в этих брезентовых или парусинных коробках работали мастера сусального дела. Подновленные главы сияли еще ярче. Золотое покрытие иных куполов было столь прочно, что выдержало 14-летнее испытание без малейшего ремонта: есть еще главы церквей в Москве, которые сверкают золотом.

С Воробьевых ли гор, с Поклонной ли горы, откуда смотрел на Москву Наполеон, с вышки ли Пашкова дома, откуда кланялся Москве прусский король в 1818 году, с верхнего ли яруса Ивана Великого, или паперти церкви Никиты Мученика на Швивой горке, — отовсюду было видно это золото в лазури. Это был остаток древнего уклада и строя великокняжеской и царской Москвы. В старом русском — да и не в русском одном — в старом христианском городе — стоял ли он на берегу Тибра, Рейна или Москвы-реки — жилища Бога всегда возвышались над жилищами человеческими. Но готические и романские церкви Запада не знают золотых куполов: они возносят к небу только кресты, и то не всегда золоченые. Золото московских куполов давало величайшую радость глазу своей игрой под спящим, тусклым, мрачным северным небом. Был как-то неистребим золотой налет радости над обыденным серым городом. Кресты церквей — верховная точка города. Я любил рисунок Ропса, изображающий дьявола, шествующего над Парижем: его копыта погружены в тяжелые деревянные сабо: он боится получить смертельные уколы золотых мечей крестов, венчающих купола церквей. Вот такому путешественнику трудно

было бы прогуляться по кровлям старой Москвы: без заколдованных деревянных башмаков исколол бы он себе до смерти ноги о кресты московских «сорока сороков».

Кресты эти были верхние предельные архитектурные точки, господствовавшие над городом как архитектурно-пространственным целым, — и точки эти, легкие, золотые, разрешали тяжелую каменную и деревянную косность и массу города в сверкающее в воздухе — золото в лазури. Это было великолепное завершение города как единого целого. Москва со всею своею ширию и простором много веков сводилась к верховенству золотой точки — кресту Ивана Великого; впоследствии к ней прибавилась вторая — купол Храма Христа Спасителя. Все архитектурные диссонансы города были разрешены в этой гармоничной, завершающей высочайшей ноте, поистине золотой! Крест соборного храма, соборной колокольни были естественной верховной точкой, господствовавшей над городом, его символом. К знамени креста, как к последнему знаменателю, была приводима вся жизнь города. Такой золотой крест, видимый за десятки верст, был для Москвы то же, что для древних Афин золотое копье Афины Паллады, видимое далеко с моря.

Современный город не имеет такой верховной точки. Париж заменил свою древнюю верховную точку — башни Notre Dame — Эйфелевой башней; от этой новой точки, как известно, в ужасе бежал Мопассан, не могший вынести ее торжествующей нелепости и безобразия. В других городах крест, как высшая точка, заменен фабричными трубами и безобразными небоскребами. В Москве постепенно росли новые пяти-шести-семиэтажные дома, и жилища человека становились выше жилищ Бога — древних златоглавых и златокрестных храмов. За стенами высоких домов, которые особенно рьяно принялись строить после японской войны, старинные церкви скрылись как в тюремных камерах и коридорах. Вместо высших точек из золота такими точками оказались безобразные высокие трубы центрального отопления. Один из самых горячих ценителей красот старой Москвы и глубокий знаток ее прошлого, европейец-энциклопедист по образованию, Вл. А. Кожевников\*, помнится, в 1897, либо в 98-м написал горячую статью о гибели старых церквей за безобразными стенами домов. Статью охотно

---

\* Про него С. Н. Булгаков<sup>16</sup> говаривал: «Владимир Александрович знает все и еще кое-что»<sup>17</sup>. (Примеч. С. Н. Дурьлина.)

поместил истый москвич П. И. Бартенев в своем «Русском Архиве». Но это был голос вопиющего в надвигающейся пустыне современного города, никем не услышанный\*.

А были люди, которые могли и должны были бы его услышать; услышав, они могли бы сделать многое. Я говорю про причты тех церквей, вокруг которых еще уцелели «монастыри». Если б «монастыри» эти самим причтом не застраивались высокими доходными домами, то многие древние церкви остались бы на таком же просторе, а не в «теснине стен» (Брюсов), как, например, церковь Покрова в Левшине или Воскресения в Кадашах.

Не только люди убежденного философского «отцелюбия», каким был покойный Вл. А. Кожевников, ученик и биограф Н. Ф. Федорова, но и люди иного философского и политического склада, как покойный князь Е. Н. Трубецкой<sup>18</sup>, больно переживали этот плен златоглавых церквей в «теснинах стен» новых доходных домов и фабрик. Е[вгений] Н[иколаевич] не любил Храма Христа Спасителя, особенно после своих поездок по России в 1914—15 гг., когда он открыл для себя и страстно, до проповедничества полюбил красоту и мудрость древнерусских храмов и иконописи Новгорода и Пскова. Помню, как он в одном своем публичном чтении назвал огромный золотой купол Нового Собора (так звали в Москве многие Храм Спасителя) — «сияющим, ярко отчищенным тульским самоваром», и как С. Н. Булгаков возразил ему на это, что какова бы ни была эстетическая ценность этого купола — для многих миллионов русских людей он — увенчанная крестом глава чтимого храма, а креста над самоваром не бывает. Но и кн. Е. Н. Трубецкой погоревал, когда четыре безобразные трубы электрической станции воткнулись между золотых куполов соборов и церквей и как частоколом загородили вид на Храм Христа Спасителя со стороны Замоскворечья. Евгений Николаевич не раз указывал, что эти грязные, назойливо коптящие небо трубы, разрушившие великолепие вида на Храм Спасителя и на Кремль, — настоящий символ надвигающегося скучного утилитаризма, который не оставляет в жизни места для красоты и, как гвоздь в картину Рафаэля, вбивает в древний прекрасный лик города безобразные острые трубы.

К началу мировой войны вид на Москву с Воробьевых гор уже далеко не был сходен с тем, которым любовались в 60-х годах одинаково и славянофил Шевырев, и западник

---

\* Кажется, она так и называлась «Голос умирающих церквей». (Примеч. С. Н. Дурьлина.)

Герцен. Убыло зелени, спрятались многие золотые купола за острые стены и померкла былая ослепительная белизна Москвы. За десятилетие революции потускнели и почернели золотые главы, некоторые из них потеряли свои кресты, другие были отсечены совсем. Переставая быть златоглавой, Москва переставала быть белокаменной. Теперь это особенно заметно. Все новые постройки в Москве, сделанные за время революции, все грязно-серого цвета, а не белого. От новых домов веет серо-зеленой унылостью петербургских рядовых строений; в них есть тот серо-унылый «дух неволи», о котором писал Пушкин, но «стройного вида» петербургских, покорных архитектурному пейзажу зданий они лишены. В прежней Москве основным цветом зданий был белый, «вторыми» цветами были — розовый, бледно-желтый, — но никогда серый, изжелта-серый или серо-зеленый — цвета Петербурга. Кремлевские соборы, с Ивана Великого — все до одного белые — давали основное пятно «белого» в Москве, в самой ее сердцевине. В начале XVII в. и пестрый ныне Василий Блаженный был белый. Архитектурные разведки, предшествовавшие уничтожению в 1927 г. Красных ворот, показали с очевидностью, что и эти, знаменитые своей раскраской, Красные ворота были в XVIII ст. белыми, с золотыми украшениями\*. На основании этих разведок их оштукатурили сызнова (ценные елизаветинские монограмма и герб были сшиблены после революции 1917 г. при советской власти), окрасили в белый цвет, — и последний свой, предсмертный год, Красные ворота простояли белыми.

Широко стягивавший Москву огромный белый пояс стен Белого города исчез при Екатерине II, но из его кирпича был построен целый городок белых зданий Воспитательного дома. И получилось неподалеку от Кремля огромное белое пятно. Большими белыми пятнами на зеленом фоне Москвы были монастыри — Рождественский, Андрониев, Алексеевский, Даниловский и другие. Старинный белый пояс

---

\* Был, однако, момент, когда они сделались ненадолго зелеными. Помню, мама рассказывала мне, что генерал-губернатор Закревский в 50-х годах велел их окрасить в зеленый цвет. На это была сложена эпиграмма, я ее помнил в детстве со слов матери. Над Закревским в ней смеялись, между прочим, и за то, что он

*Все окрасил в цвет зеленый.*

Москва, любившая золотое, белое и розовое, не простила своему нелюбимому начальнику, что он хотел обрядить ее в зеленый цвет, более естественный ее антиподу Петербургу («Цвет небес зелено-бледный»). В памяти у меня сохранился только один этот стих. (Примеч. С. Н. Дурьлишна.)

Китай-Города стягивал «город» — торговую часть Москвы. Такие типичные для Москвы здания, как великолепный Пашков дом, Теплые ряды на Ильинке, больницы (1-я Градская, Голицынская, на Калужской, Странноприимный дом и больница гр[афов] Шереметевых на Сухаревской площади), Архив Министерства иностранных дел на Воздвиженке и многие другие были все белого цвета. «Новые ряды» (Верхние Торговые ряды), преемники Гостиного двора екатеринских времен на Красной площади, — пережив классический *empire* на так называемый русский стиль эпохи Александра III, не сменили окраску — остались такими же белыми. Наоборот, огромные красные кирпичные кучи, крытые железом, называемые Историческим музеем и Городской Думой, вносили своим красно-кирпичным безобразием резкий диссонанс в окружающий архитектурный пейзаж.

Чрезвычайно распространенные с 90-х годов в провинции храмы и здания из красного кирпича с зелеными куполами и крышами, испортившие столько пейзажей старинных городов и монастырей\*, вошли в Москву в небольшом, сравнительно, количестве и лишь частично обезобразили ее. Наряду с белыми зданиями — и в тон им, в увеличение богатства оттенков — были здания в стиле московского *empire*'а — бледно-желтой или бледно-розовой расцветки. В 910-х годах пробовали строить и многоэтажные доходные дома в этом стиле, но *empire* — строгий, аристократичный, внутренне-целостный — тускнел и блек на этих огромных фасадах, ради доходности изрешеченных бесконечными окнами.

Нет сомнения, что с торжеством железобетона исчезнет славная белокаменность Москвы, придававшая ей такой праздничный вид. Уже с конца 90-х годов Москва начала менять свой белый подвенечный наряд, свой основной цвет — белое с золотом — на более будничные и хмурые цвета. Была Белокаменная (этот эпитет стал ее собственным именем) — станет серобетонная.

Еще один цвет исчезает в Москве вместе с золотым и белым — зеленый. В 1903 г. от урагана погибли Анненгофская роща и великолепный Лефортовский сад. Для постройки доходных домов вырублены были после японской войны множество монастырей, садов, садиков и палисадников в цент-

---

\* Пример — безобразный красно-кирпичный новый собор Хотькова монастыря под Москвой, задавивший собою и разрушивший чудесный прежний архитектурный ансамбль этого подмосковного монастыря. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

ральных частях и на окраинах города. Опустели и отощали сады владений по Садовой. В бестопливные годы (1918 — 1921) вырублено огромное число деревьев в уцелевших от застройки садах; поредели Петровский парк, Сокольники, Оленья роща, Лосиный остров.

Зеленого также невозвратно убавилось в Москве, как и золотого и белого. Так будет идти, конечно, и дальше.

Опоясан лентой пашен,  
Весь пестреешь ты в садах, —

этого давно уже нельзя сказать про Москву, как говорил сто лет назад Ф. Глинка<sup>19</sup>. Вместо ленты пашен — ремень зловонно дымящих черно-красных заводов, вместо садов — на окраинах — пустыри с крапивой и свалками, в центре — дома, дома, дома, серые, безобразные, унылые. Глинка писал про Москву сто лет назад, Кнут Гамсун в 1903 г., всего четверть века назад, — приезжай он теперь в Москву, он уже не нашел бы в Москве того множества кусков белого мрамора, изумрудов и золота, которыми любовался тогда с Ивана Великого («В сказочной стране»).

Москва народной песни белокаменная, златоглавая — умирает вместе с этой песней. Песню заменила пошлая, бойкая фабричная частушка, Москву белокаменную и златоглавую — обычный европейско-американский серо-фабричный город, тянущийся во всем за другими, более солидными городами того же типа. Судьба неумолима к городам не менее, чем к людям. Она не только москвичей, но и Москву боярского охабня, екатерининского камзола, широкорукавной рясы, поддевки и обруселого фрака, переряжает в однообразную, всюду и везде одинаковую будничную фабричную блузу, просоленную около машин. В ней, вероятно, очень удобно работать, но на эту блузу вряд ли приезжали бы любоваться Гамсун, Верхарн и Уэллс — они ее видели-перевидели и у себя на родине.

#### 4

Скучно и без москвичей, и без московских газет, и без московского звона, который я так люблю.

А. П. Чехов — В. М. Соболевскому.  
Из Ялты. 6 января 1899

Надо бы говорить о москвичах, о великорусской или, вернее, просто русской Москве, но от Москвы златоглавой

к ним переход через московский звон, по которому так нежно тоскует Чехов, усланный врачами в далекую, чужую ему Ялту. В этом звоне была какая-то крепкая и прекрасная связь у москвичей с Москвою, — и не только у тех, для которых Москва была «златоглавою» — городом храмов и святынь, а и для тех, кто, подобно Чехову, давно потерял детскую веру, но не потерял любви к красоте, связанной с этой верой. Московский звон — был московская красота. Тот же Чехов писал в 1899 г., сняв квартиру в Москве: «Квартира прекрасная, на М[алой] Дмитровке, — это в центре города близ Страстного монастыря. Высоко, светло, слышен чудесный звон» (Письма, V, 396)<sup>20</sup>. Как Чехов, любили московский звон и поэты — от Хомякова и Майкова до Вячеслава Иванова. Первый написал «Кремлевскую заутреню» с Ивановским звоном, второй — прекрасное стихотворение «Духов день в Москве», где передал торжественную, благовествующую мощь московского звона<sup>21</sup>. Юноша Лермонтов хорошо сказал, что у Москвы «есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!» — колокольный звон: «Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Бетховена, в которой густой рев контрбаса, треск литавр с пением скрипки и флейты образуют одно великое целое; и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!.. О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, взобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого!»

То, что Лермонтов высказал в романтически-приподнятой форме, Чехов, скупой на слова, выразил в трех словах: «слышен чудесный звон!» — но уже то одно, что и романтик Лермонтов, и славянофил Хомяков, и трезвый позитивист Чехов, и символист Вяч. Иванов сошлись в одном впечатлении, в одной оценке — свидетельствует, что тут бесспорная красота и несомненное, сияющее ее явление.

Звон, заливающий весь город, свойственен только старым русским городам, как Новгород, Ростов, Москва. Сколько бы ни звонили, например, в Петербурге, это будет звон отдельных церквей, но он не сольется в тот единый «язык сильный, звучный, святой, молитвенный», о котором писал юноша

Лермонтов. На Пасху или на Рождество Москва пылала звоном, как огнем\*, охвачена была им, как пожаром, вся целиком, с середины и до крайних краев. Соборный звон в Ростове, с 7-ю его особыми «композициями», был великолепен своей тончайшей музыкальностью. «Это колокола Вагнера в «Парсифале!» — воскликнул Эмилий Метнер, слушая вместе со мною эти ростовские звоны соборной звонницы в июне 1914 г. Но нигде, — ни в Киеве, ни в Ростове, — не было того, что бывало в Москве, когда сияло звоном сердце Москвы — Кремль, и в ответ ему отзывались все близкие и дальние, сходящиеся к нему артерии церковей и монастырей. Под большие праздники, в самые их дни, и в особенности на Пасху, в Светлую ночь Москва польхала звоном, горя и сияя в нем, как Неопалимая Купина.

Исток московского звона, его чистейший и глубочайший родник был Кремль, а в Кремле — Иван Великий. За исключением маленьких колоколен с небольшими колоколами Чудова и Вознесенского монастырей и двух колоколенок церковей под Кремлевской горой — Благовещения на Житном дворе и Константина и Елены, в Кремле не было других колоколен, кроме Ивана Великого. Он служил колокольной для всех кремлевских соборов и храмов. По подбору колоколов, по весу их (главный колокол 4000 пудов), по умягченному временем благородству звука Иван Великий не знал себе соперников не только в России, но и в мире. Главный колокол его давал звук единственный в своем роде: это был голос самой старины, серебряный, как ее седины, глубокий, как прошлое, умягченный, как мудрость старости, — и вместе твердый, мощный, необыкновенно величественный — настоящий «глагол времен и металла звон»<sup>22</sup>. Чтобы раскатать язык этого первого колокола в России и в мире, надобно было усилие четырех заслуженных звонарей, — и сколько бы раз в жизни ни слушать его звон, всегда первый удар его в Пасхальную ночь или в другой торжественный день производил впечатление совершенной, потрясающей неожиданности, — как будто, действительно, сама Москва, сама Русь начинали свой вещий, священный разговор. Первое же мое впечатление, еще ребенка, от этого колокола было потрясающее, таким оно осталось навсегда.

---

\* Именно такой звон отображен Вяч. Ивановым в его стихотворении. (Примеч. С. Н. Дурьлина.)

С ударом этого колокола в течение столетий были связаны едва ли не все исторические события, протекавшие в Москве. Я помню, как он возвестил огромной народной толпе начало прославления патриарха Ермогена в 1912 г.<sup>23</sup>, помню, как он призывал к чтению манифеста об объявлении войны Германии в 1914 г., открытие церковного Собора и поставление патриарха в 1917 г. Но у всех москвичей больше всего, конечно, связано с этим колоколом воспоминание о пасхальной ночи в Кремле. Я о ней не буду здесь говорить, скажу после, здесь же скажу только о самом пасхальном звоне.

Часов с 6 вечера Великой Субботы Москва затихала. Переставали ходить конки. Редки становились извозчики. С 9 часов была в городе полная ласковая тишина, всюду и у всех тишина, о которой теперешние жители Москвы не имеют и понятия. Толпы народа отовсюду двигались в Кремль, — тихим, могучим потоком, — безмолвным и неуклонным. Я не пойду сейчас с ним в Кремль. Это я сделаю в другом месте «Записок». Я буду слушать тишину торжественной, замершей Москвы из ограды какой-нибудь приходской церкви. Тишина полнейшая: не Москва, а поле, лес, луга, спящие тихой, ясной ночью. «Есть некий час в ночи всемирного молчанья». Вот почти такая тишина: с молчанием неба. И в людях тишины больше, чем во все другие часы и дни года. Все ждут. Все вслушиваются в тишину. Должен быть голос в ночи. Но тихо, тихо. Тишина, тишь, тихмень, затишье, оттишь — все слова нужны, чтобы выразить все оттенки, все уголки этой тишины, — единственной в году. Все колокольни до одной молчат, хоть двенадцать часов близко, хоть есть уверенность, что полночь уже наступила. Но молчит Иван Великий, — и нет полночи. Тихо, тихо. И вдруг — мощный, мягкий, величавый звук — один в целом огромном городе — прорезывает — нет, не так: раздвигает ночь невидимыми могучими руками и светлым лучом звука возвещает всем и всему: «Воскрес! Опять Воскрес!» Это уже был не язык седой Москвы, это был голос древней веры в воскресшего Бога. Все крестились, все, кто дождался и слышал этот звук. И тысячи колоколов подхватывали его и превращали звук — в море, в океан звуков. Тут уже не романтика — эти «море» и «океан», слышавшиеся Лермонтову в московском звоне, а сама реальность. Море звуков колыхалось над Москвой в гулкой темноте весенней ночи и казалось таким же огненным, как звезды в небе, как взлетающие к ним ракеты, фейерверки, как огни бесчисленных иллюминаций.

Я понимал актера Горбунова и моего учителя Артема<sup>24</sup>, которые неизменно встречали пасхальную ночь в Москве: нигде в России радостнее и прекраснее она не встречалась. Действие кремлевского звона в эту ночь было неотразимо на всех, кто имел хоть каплю поэзии в душе.

Иван Великий бывал полон в ту ночь народом. Купцы по старинному обычаю договаривались со звонарями, кому достанется первый удар в колокол в эту единственную ночь. Верили, что этот удар, поднимающий недельный неумемный звон всей Москвы, приносит на год счастье и удачу. Так как желающих первым ударить в колокол было много, то, случалось, бросали жребий. Тот, кому доставался первый удар, давал деньги — четвертной билет и больше — в пользу звонарей.

Народ на Ивановской колокольне ждал первого удара с особым нетерпением — и первый удар этот воспринимался где-то и тут, и близко, — и вместе с какой-то неизмеримой высоты доносился он. Его подхватывали голоса других колоколов на той же колокольне, — и древний столп, увенчанный «шапкой золотою», сотрясался от медной бури, бушевавшей внутри него.

В 1908 г. я пошел в Кремль в Пасхальную ночь с Борисом Пастернаком: тогда это был Боря, стеснительный гимназист старшего класса V казенной гимназии, единственной, которая к тому времени оставалась вполне классической, с греческим языком и даже с «Антигоной» на греческом языке, которую разыгрывали гимназисты\*. Боря был еврей, я был православный по паспорту, но оба мы тогда были люди неверующие. И вот, влившись с многотысячной толпой в Кремль, мы, в числе многих других, поднялись на столп Ивана Великого и пристроились где-то на одном из верхних ярусов. Вся Москва, замершая в ждущей тишине, была пред нами. Церкви были уже освещены изнутри, но еще не горела иллюминация. «Внизу народ на площади кипел» (Пушкин).

Не помню, о чем мы говорили с Борей, когда шли в Кремль (я заходил за ним в Училище живописи на Мясницкой, где была квартира его отца), — вероятно о музыке: она тогда значила для него гораздо больше, чем поэзия, и на него смотрели, как на будущего музыканта. Вероятно о музыке и о стихах говорили мы и стоя на высоком ярусе Ивана Великого. И вдруг — сразу, в мгновение ока — мы перестали

---

\*Антигоной был Шура Пастернак, брат Бориса, теперь ученый-архитектор<sup>25</sup>. (Примеч. С. Н. Дурылина).

слышать друг друга; стояли, прижатые народом к каменному парапету, рядом, лицо было у лица, губы шевелились — и мои, тонкие, и его, крупные, пушкинские, губы «арапа Петра Великого», — но мы не слышали ни слова, ни звука! Нас заливала медная волна, кружила, хлестала над нами, — и вдруг расплылась над Кремлем, захватила всю Москву, — и медное море бушевало вокруг и всюду, куда хватало глаз. Мы потонули, исчезли в нем. Почему-то мы вошли внутрь башни, — и нам стало страшно, показалось, что башня, уходившая далеко вверх над нашими головами, вся сотрясается под действием невидимых гигантских таранов; они отовсюду бьют в ее стены, огромные катапульты мечут целые тучи каменных ядер, и башня вся дрожит сверху до основания. Еще приступ — и она рухнет. Я почти что всунул губы свои в ухо Борису и крикнул что было сил: «Боря, мы в осаде! Как у Д'Аннунцио, во «Франческе да Римини», — внутри осажденной башни люди в куче, а стены таранил враг. Вот-вот обрушится башня!..» У Бори блестели глаза. Он улыбался широчайшей улыбкой — я ее про себя называл ганнибаловой: зубы у него блестящие, как у «арапа Петра Великого». Он, без шляпы, умиленно кивал головой, что-то кричал мне, но я улавливал только его веселое возбуждение, захватывающее дух: «Да! Да! Да!»

А стены дрожали под ударами стенобитных орудий. Вдруг все смолкло. Это крестный ход обошел вокруг Успенского собора, вошел в собор, и началась утренняя. Мы сошли с колокольни потрясенные, — точно вернулись из Средних веков, из Римини, осаждаемого гвельфами. Кремль остался в стихах у Пастернака<sup>26</sup>. А в ту ночь ему звон Ивана Великого был нужен и дорог не меньше, чем Чехову «чудесный звон».

В последний раз Иван Великий говорил в Пасхальную ночь в 1920 г. В 1917-м и 1918-м в Кремлевских соборах еще были Пасхальные утрени, Иван Великий, как всегда, сзывал Москву — и народ еще пускали свободно в Кремль. Но к осени 1918 г. доступ в Кремль для богомольцев был прекращен, во всех церквях прекратилось богослужение, и в Пасху 1919 г. первый раз за все свое существование Иван Великий безмолвствовал.

Подходила Пасха 1920 г. В Москве существовало тогда некое странное полуофициальное учреждение, помещавшееся в Златоустовском монастыре, — с нелепым названием Исполком Духа. Это был какой-то совет по религиозным делам, в котором заседали кто-то из православного духовенства, чуть ли не епископ Антоний, пастор лютеранский, раввин,

еще кто-то. Почему-то заседал умный и хитрый Иван Дмитриевич Сытин<sup>27</sup>. Задачей этого Исполкома религиозных организаций было вести представительство перед советской властью всех религиозных организаций Москвы, без различия вероисповеданий. Я нередко видывал Сытина в эти месяцы, благо жил рядом с его бывшей конторой на Маросейке. И вот Сытину пришла мысль через этот Исполком Духа добиться у правящей власти разрешения позвонить на Иване Великом в Пасхальную полночь, подкрепляя ходатайство тем, что разрешение звона произведет самое лучшее впечатление на москвичей. Разрешение было дано, и Сытин звонил в Пасхальную полночь на Иване Великом. Соборы же по-прежнему были заперты, и в Кремль никого не пускали. Звон этот, — столь хорошо знакомый Москве, старый Иванов звон, — на этот раз, при запертом Кремле и безмолвных соборах, производил странное, даже жуткое впечатление. Впрочем, Сытин ликовал: «Мы добились звона в Кремле на Пасху!» На следующий год Иван Великий молчал, — и это было лучше.

Ивановский звон производил на меня с детства еще особое впечатление. Суриков говорил однажды Волошину: «Верю в Бориса Годунова и в Самозванца только потому, что про них на Иване Великом написано»<sup>28</sup>. Я помню с детства эту надпись черно-золотою вязью на шее у Ивана Великого, но верю я в Бориса Годунова и Самозванца потому, что слушал Ивановский звон: он и при них звенел, он о них и мне звенит... В 1910 г. я часто хаживал в Кремль, часто слушал Ивановский звон, — и однажды, ложась в постель, придя из Кремля после всеобщей, схватил клочок бумаги и в темноте, не глядя на нее, нацарапал вот что:

Старая царевна  
Московских времен  
С капустных грядок гневно  
Сгоняет ворон:

Кыш с огорода!  
Каркать без пути!  
Нового-то брода  
Неужто не найти?

В Питер бы летели,  
Петькин чертов град.  
Времена приспели —  
Антихрист у врат.

Братец приветит,  
Петрушка тароват —  
У качелей встретит,  
Где детушки висят.

Туго с хлебом, с солью —  
Мясо нипочем:  
Человечинки вволю  
С красным кваском!

Одному не скушать,  
Все-то не испить:  
Помогите рушить!  
Пособите пить!

Старая царевна  
С палкой на ворон.  
Загудел так гневно  
Ивановский звон.

Прочтя это стихотворение, Борис Садовской писал мне: «Нету Мусоргского — вот кто бы написал музыку на эти слова!» Перечитываю эти строки теперь и вижу: стихи писаны дольником, которым теперь пишут все, а 18 лет назад не писал почти никто; язык какой-то свой, и русский, и мой; какой-то кусочек старины будто застрял в стихах и, может быть, хоть на  $1/10$  и есть правда в отзыве Садовского, — и вот вижу это, и знаю: все это не я написал, а Ивановский звон назвонил мне в тот вечер, а я лишь записал коряво назвоненное. Утром, помню, я с удивлением прочел, еле разбирая, корявый листок, — и удивился, откуда это у меня? Я писал тогда гладкие символические стихи, «Францисканские сонеты» («Антология» Мусагета. М., 1911), — и вдруг этот русский, истошный выплач, царевнин стон! Не мое. Звоново. Это с Иван-колокольни.

В Кремле, как я сказал, были еще две маленькие колоколенки, в близком соседстве друг от друга: Чудова монастыря (мужского) и Вознесенского (женского). И вот в детстве еще кто-то научил меня различать, как звонят монахи и как монахини. Вознесенские монашенки начинают меленькими голосками, жалостно, жалостно, жиденько:

К нам! К нам! К нам!  
К си-ро-там!

Монахи Чудовские через стенку отвечают им басами сочно, громко, грузно:

Бу-у-дем! бу-у-дем!  
Не за-а-бу-у-дем!..

Жалостно, жалостно капал над Москвой великопостный звон. Капель весенняя капала с крыш, медная тоненькая капель капала и с неба, весеннего, голубого, с кучевыми белыми облаками. И теперь, конечно, звонят Великим постом в Москве. Но того звона, который был в прежней Москве, уже не услышишь. Улицы теперь стали шумны, бойки, деловиты; они запружены, загружены назойливыми звуками трамваев, автобусов, автомобилей, мотоциклетов, — колокольный же звон любит тишину, и только в ней открывается вся его музыкальная красота. В громе трамваев, в шуме автобусов, в истерических взвизгах автомобилей он теряется, никнет, пропадает; особенно же постный перезвон. Он требует тихих будней: под воскресенье и в самое воскресенье, когда в городе меньше движения, постного тихого перезвона не бывает, — и вот в прежней Москве всюду, подалее от трех-четырёх шумных улиц, бывали эти тихие будни, и с необыкновенной лёгкостью, с светлую грустью капала на них весенняя капель великопостного звона. Можно было не идти в церковь к трогательно прекрасным великопостным вечерням или утрням, можно было быть далеким от всякой прямой и определено выраженной веры, но не предаваться хрустальному очарованию этого тихого вечернего или утреннего звона над весенней тихой Москвой — было невозможно, — невозможно, по крайней мере для того, у кого «душа» ещё «стесняется лирическим волнением» (Пушкин). Вот отчего любил этот звон Чехов.

Москва же с ее неисчерпаемым богатством колоколов и звонов — всех ладов — от торжественного призывного зова Ивана Великого до тихого почти шепота какой-нибудь старой шатровой колоколенки в Замоскворечье, — создавала людей, которые весь смысл своей жизни, все ее дело, наконец, самих себя — находили в звоне и колоколах.

Я знал и многие в Москве знали одного такого человека. Это Павел Федорович Гедике.

Его отец — Ф. К. Гедике — был профессор Московской консерватории, композитор, пианист и органист, первый учитель Н. Метнера; родной брат — один из известнейших

современных композиторов, также профессор консерватории, А. Ф. Гедике; сестра — камерная певица; двоюродный брат — сам Н. К. Метнер. А сам П. Ф. Гедике — звонарь на колокольне Сретенского монастыря на Б[ольшой] Лубянке.

Когда, бывало, на улице остановишься с ним, а мимо пройдет знакомый, не знающий Павла Федоровича, неизбежен впоследствии вопрос: «С каким это странным субъектом вы разговаривали наемдни на улице?» И это была еще осторожная формулировка вопроса; пожалуй, точнее его можно бы даже формулировать: «с каким это оборванцем»... Маленького росту, взлохмаченный, густо заросший черною, с проседью бороною, в рваном, почему-то всегда ватном, зимою и летом, пальто, «в пуху», с наческами ваты на порыжелом, позеленелом сукне в пятнах, в какой-нибудь давным-давно инвалидной шляпе, в нечищенных рыжих штиблетах, над которыми болталась бахрама брюк, — звонарь Сретенского монастыря производил впечатление, действительно, оборванца.

А между тем этот оборванец вырос в чинной музыкальной строгой семье, и музыкальных данных — наследственных в этой замечательной семье — у него было не меньше, чем у других ее членов. Он мог бы легко и успешно идти той же почтенной и прямой музыкальной дорогой, которой — с разными талантами и успехом, но с одинаковым правом и честью — шли его дед, отец, брат, сестра, двоюродные братья. С этой музыкальной дороги он свернул на другую — музыкальную же, но совершенно необычную и никем не признанную. Этот мальчик, выросший в неправославной, хоть издавна московской семье, у которого отец был лютеранин, а мать — католичка, влюбился с детства в московский колокольный звон, заслушивался его часами, стал его мастером, художником, творцом... Обладатель совершенного слуха и совершенно исключительных, по признанию его брата-композитора, — музыкальных способностей, — он взошел с ними, иноверец, на московскую колокольню: там он нашел тот музыкальный инструмент, которому отдал всю свою жизнь: колокола.

Я не знаю в точности, как это случилось, но православные колокола привели его к православному храму и православной вере. Он принял православие. Но этого мало сказать: он принял весь русский оттенок этой веры. Кровь веры заструилась в его жилах. Отец его был органистом во

французской церкви; брат-композитор игрывал там на органе и наследовал от отца любовь к этому музыкальному голосу католичества и протестанства: сделался лучшим органистом России, профессором органа, автором композиций для него. Павел же Федорович не только ушел от этого инструмента, но и от храма, от веры, которых он является глашатаем. Колокола московских церквей назвали ему лучше всяких проповедей ту веру, которую вестил их звон. П. Ф. Гедике стал одним из православнейших людей Москвы. Глядя на него, беседуя с ним, я вспоминал, что подвижник, подвизавшийся самым национальным русским подвигом, — юродством, блаженный Прокопий Устюжский — был родом «немчин». Что-то от юродивого — в его простоте, чистоте, «нищете душевной» и «нищете телесной» было и в Павле Федоровиче, — даже и в его одежде, и в отношении к ней. До смерти своих родителей (уже после революции 1917 г.) он жил с ними; после их смерти жил у брата-композитора.

Звонарь Сретенского монастыря, он ничего не получал за звон, — и в глазах хозяйственных и плутоватых Варлаамов и Мисаилов Сретенского монастыря (Пименов там в эти годы не было) он был чем-то средним между юродивым и шутом гороховым. Содержали его родные. «Колокола» не кормили его, а ни от чего другого он кормиться не хотел, отдав им всю жизнь свою и талант. Отец и мать, а впоследствии брат, непрестанно одевали его, следили за тем, чтобы он был чисто и прилично, и тепло одет, — но эта «чистая одежда», только что обновленная иждивением родных, очень скоро «исчезала» на нем: непостижимо быстро ветшала или заменялась другой, отнюдь не «чистой, приличной и теплой». Как это случалось — никто не знал, и с течением времени у родных выработалось отношение к этому, как к неизбежному: за обновлением следовало ветшение и исчезновение. Вот почему иначе, как в виде «странного субъекта», а грубее и такое — полуоборванца — нельзя было встретить Павла Федоровича на улице. Если в глазах сретенских монахов была юродством и «шутогороховством» его служба безвозмездным звонарем на колокольне их монастыря, то в глазах общих знакомых и в глазах отца, матери и брата было полубезумием и болезнью, несчастьем семьи то, что прекрасный музыкант с большими природными данными губил себя на колокольне. Об этом не говорилось, — и вообще избегалось говорить о Павле Федоровиче, — но чувствовалось, что это — несчастье семьи.

Для самого же Павла Федоровича его бескорыстное, [нрзб.], юродивое, на суд других, звонарство было несомненным счастьем. Вероятно, он был бы прекрасным органистом\*, но себя нашел он только в колоколах. Его единственный, уготованный ему инструмент, на котором одним призван он был творить, находился на колокольне Сретенского монастыря, — и что ему, истинному художнику, было за дело до того, что этот инструмент не давал ни славы, ни денег, ни консерваторского признания, ни газетных отзывов, — ничего из того, что дают фортепиано, скрипка, оркестр! Он остался верен своему инструменту навсегда.

Он творил на нем чудеса. Старая Москва колоколов и церковного звона нашла в нем своего последнего художника. Лермонтов, Хомяков, Чехов слушали московский звон, любили его, ощущали чудо его красоты («чудесный звон!»), благодарно вспоминали его. Но они не взошли на колокольню и не стали, — конечно, и не могли стать, — художниками звона. П. Ф. Гедике, с детства заслушавшись московского звона, взошел на колокольню и стал художником звона. Для этого нужна была огромная, самоотверженная любовь, — ибо, повторяю, любовь эта не могла рассчитывать ни на какое утешительное воздаяние, — ни на что, кроме насмешек, осуждения, подозрения в ненормальности. «Звонарь!» Это какое-то последнее, смешное, полупьяное существо с отмороженным носом и корявыми пальцами. «Звонарь» — должность, которую может занять всякий, кто ни на что другое не способен. Смешнее же всего было, что на эту должность — угрожавшую спившимся псаломщикам, слепым послушникам и церковным сторожам — напросился лютеранин — сын и брат профессоров консерватории! Конечно, это могло быть только из юродства или из болезни. Таково было общее решение. П[авел] Ф[едорович] подчинился этому, но еще более своему решению.

«У него удивительный слух, — рассказывал про него его брат-композитор. — В праздничный день, когда звучат тысячи колоколов, брат безошибочно выделяет звон любой церкви. Узнает звук любимых колоколов. Это много. Это значит в море, в прибое различить гул каждой волны, высоту ее звука».

Две зимы я, живя близко от Сретенского монастыря, слушал и будничные, и праздничные звон Павла Федоровича.

---

\* Он замечательно играл на других инструментах и поражал всех. (Примеч. С. Н. Дурьлина.)

Колокола Сретенского монастыря не представляли ничего особого: хорошие московские колокола, какие висели на десятках московских колоколен. Но Павел Федорович так их «обзвонил, настроил, спаял в звоне», — что они представлялись особым музыкальным инструментом, единым по строю, — с благороднейшей тончайшей звучностью. Звучность эта напоминала знаменитую ростовскую звучность — древних звонов звонницы Успенского собора. На этом инструменте, заключенном в восьмиугольную башню — в невысокую колокольню (в 2 яруса всего), — Павел Федорович создавал что-то свое, необыкновенно прекрасное, чего нельзя передать в слове. Я про себя называл это «Звон колоколов в подводном граде Китеже»: как будто в воздух проникает он через чистый хрусталь воды, — и оттого в нем слышится что-то серебряное, тонко-звучное, преображенное, как будто языки колоколов касаются не медных, а тонких фарфоровых стенок. Но этот подводный звон несся сверху, с неба, — и нес православную древнерусскую молитву. По строю, по ладу это был настоящий православный звон, — мало того: московский звон. То, что было лучшего и прекрасного в обычном, исторически сложившемся московском звоне, как через очистительную стихию воды, прошло через чистую, глубокую душу этого лютеранина-музыканта и понеслось в Москву чудесным православным звоном с древней Сретенской колокольни.

Шли годы. Сретенский монастырь переживал разные перемены в своем существовании. Прекращены были крестные ходы в него на Владимирскую, некогда собиравшие туда множество народа. Монахи его окончательно вступили на дорогу Варлаамов и Мисаилов. Водворился в нем запрещенный в священнослужении архиерей<sup>29</sup>. Народ перестал ходить в его храм. А Гедике все звонил и звонил, все радовал и радовал своим звоном. И было грустно думать, что этот китежский звон сзывает к службе запрещенного в служении архиерея-самозванца, окруженного сослужащими Варлаамами и Мисаилами, в глазах которых их звонарь — шут гороховый. Когда П[авла] Ф[едорови]ча спрашивали, почему он не уйдет в другую церковь, он отвечал: «Я звоню Богоматери». Что могли значить эти самозванцы и Мисаилы для его серебряной, металлической хвалы Пречистой? Он по-прежнему всходил на колокольню и слал умиряющие, умиленные призывы колоколов, полные высокой и строгой красоты, — и вместе — «милости мира».

Слушать его звон сходились любители со всей Москвы. Бывало, в час благовеста ко всенощной проходишь мимо Сретенского монастыря и там и тут замечаешь людей, остановившихся на шумном тротуаре и внимающих звону. Поят, остановленные этой властной красотой звона, послушают — пойдут дальше, вновь остановятся: слушают, — и, поймав себя на том, что, не веря в Бога, а веря в суету дня и дел его, заслушались церковного звона, — махнут рукой и решительно сольются с движущейся толпой улицы.

В храмовые праздники других церквей Павла Федоровича приглашали звонить. Он не отказывался и звонил безвозмездно, налаживая звон на чужих колокольнях, сглаживая разнозвон колоколов, добиваясь красоты звучания. Когда ему нельзя было идти в чужой приход из-за звона на Сретенской колокольне, он заходил на приходской праздник позже, но всегда в храмовый праздник там или тут его можно было встретить в церкви, не за обедней, так за всенощной, а то и просто во внебогослужебное время... Из всех московских звонарей только имя Гедике было широко известно в верующей Москве. Это был народный художник Божию милостию.

В 1928 г. был нарушен музыкальный инструмент этого художника: снесена с лица земли древняя колокольня Сретенского монастыря\*.

Нашел ли он себе другой инструмент и исполняет ли он на нем свои композиции, я не знаю. Но захотелось воспоминанием о нем закончить страницы, посвященные Москве колоколов и церковного звона. В нем, повторяю, эта Москва нашла своего последнего художника, своего рыцаря без страха и упрека, верного до конца.

В московский чудесный звон, каким заслушивался Чехов, вливалось смиренное и высокое искусство этого самоотверженного художника, подвижника колоколен. В искусство это вложена была целая жизнь — и высокая душа.

*[Томск. 1928]. 29. IX с[тарого] с[тиля]*

---

\* «Снос колокольни и трапезной бывшего Сретенского монастыря дает возможность выравнивать направление улицы в наиболее стесненном участке ее» — «Почему сносятся некоторые церкви. Беседа с зам. предс. Моссовета тов. Волковым. «Известия», 1928, № 145 от 24/VI. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

## Примечания

<sup>1</sup> *Рашковская М. А.* В поисках сути искусства. (Письма Р. Р. Фалька к С. Н. Дурылину) // Встречи с прошлым. Вып. 6. М., 1988. С. 169–179; Две судьбы. (Б. Л. Пастернак и С. Н. Дурылин. Переписка) // Встречи с прошлым. Вып. 7. М., 1990. С. 366–407.

<sup>2</sup> Из стихотворения В. Я. Брюсова «L'ennui de vivre» («Скука жизни»).

<sup>3</sup> Некоторые записи из этих тетрадей опубликованы в книге: *Дурылин С. Н.* В своем углу. М., 1991. Там же напечатаны отдельные главы из цикла «В родном углу».

<sup>4</sup> Игуменья Владычье-Покровского монастыря *Митрофания* (в миру баронесса Прасковья Григорьевна Розен) обвинялась в 1873 г. в подделке векселей. *Ф. Н. Плевако* был участником ее процесса. Автор имеет в виду следующую фразу из его речи: «Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру не видно было дел, творимых вами под покровом рясы и обители».

<sup>5</sup> *Мефимоны* (от греч. — с нами) — вечерняя служба на первой неделе Великого поста с чтением покаянного канона св. Андрея Критского, во время которой часто повторяется возглас: «С нами Бог...»

<sup>6</sup> Вероятно, имеется в виду известный в 1900–1910-х гг. трактир С. М. Арсеньева в Лубянском проезде.

<sup>7</sup> *Горбунов Иван Федорович* (1831–1896) — актер, писатель, рассказчик-импровизатор. Дурылин писал о нем в своей монографии «Художники живого слова».

<sup>8</sup> *Никулина Надежда Алексеевна* (1845–1923) — актриса Малого театра.

<sup>9</sup> Это высказывание Пушкина из заметок «Опровержение на критики» звучит следующим образом: «...не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком».

<sup>10</sup> *Шевырев Степан Петрович* (1806–1864) — поэт, историк и философ, издатель журнала «Москвитянин».

<sup>11</sup> До ареста в 1927 г. С. Н. Дурылин жил в доме № 15 по Милютинскому переулку, в приходе упомянутой церкви.

<sup>12</sup> *Дикий и трикий* — двусвечие и трехсвечие, которыми архиерей благословляет молящихся.

<sup>13</sup> *Кусевицкий Сергей Александрович* (1874–1951) — дирижер, основатель Московского симфонического оркестра, один из первых исполнителей произведений А. Н. Скрябина.

<sup>14</sup> Ошибка мемуариста. Имеется в виду портрет работы художника Д. Г. Левицкого «Мальчик в маскарадном костюме» (1789).

<sup>15</sup> Художник Александр Осипович *Орловский* (1777–1832) известен своими рисунками, изображающими всадников и скачущие тройки; П. А. *Вяземский* написал стихотворение «Еще тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»).

<sup>16</sup> *Булгаков Сергей Николаевич* (1871–1944) — философ, экономист, богослов; с 1918 — священник. Его письма к С. Н. Дурылину см.: Вопросы философии. 1990. № 3. С. 156–164.

<sup>17</sup> *Кожевников Владимир Александрович* (1852–1917) — историк культуры, публицист, последователь философа Н. Ф. Федорова. Имеется в виду его статья «Плач церквей московских».

<sup>18</sup> *Трубецкой Евгений Николаевич* (1863–1920) — философ, богослов и правовед, деятельный участник Московского религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева и издательства «Путь», в которых сотрудничал и С. Н. Дурылин.

<sup>19</sup> Цитируется стихотворение Ф. Н. Глинки «Москва».

<sup>20</sup> Письмо А. П. Чехова к В. К. Харкеевич от 20 мая 1899 г.

<sup>21</sup> Упоминается стихотворение Вяч. И. Иванова «Духов день» из цикла «Северное солнце». Первая строфа звучит следующим образом:

Как улей медных пчел,  
Звучат колокола:  
То Духов день, день огневой,  
Восходит над Москвой.

<sup>22</sup> Из «Оды на смерть кн. Мещерского» Г. Р. Державина.

<sup>23</sup> Священномученик Ермоген (Гермоген), Патриарх Московский и Всея Руси в 1606–1612 гг., за отказ сотрудничать с польскими интервентами был заключен в Чудов монастырь и умерщвлен голодной смертью. Канонизирован в 1914 г.

<sup>24</sup> *Артем* (Артемьев Александр Родионович) (1842–1914) — актер Московского Художественного театра; был преподавателем словесности в 4-й гимназии, где учился Дурылин.

<sup>25</sup> *Пастернак Александр Леонидович* (1893–1982) — архитектор, брат поэта Б. Л. Пастернака, автор книги «Воспоминания», в которой много писал об облике Москвы времен своего детства и юности.

<sup>26</sup> Имеется в виду стихотворение Б. Л. Пастернака «Об Иване Великом».

<sup>27</sup> *Сытин Иван Дмитриевич* (1851–1934) — издатель и книготорговец, автор воспоминаний «Жизнь для книги».

<sup>28</sup> Надпись на колокольне не упоминает Самозванца, она гласит: «Изволением Святыя Троицы, повелением Великого Государя, Царя и Великого Князя Бориса Феодоровича, Всея Руси самодержца и сына его благоверного Великого Государя Царевича и Великого Князя Феодора Борисовича всея Руси храм совершен и позлащен во второе лето Государства их 108 года».

<sup>29</sup> В начале 1922 г. при негласной поддержке советской власти зародилось и организационно оформилось так называемое «обновленческое» движение в православной среде. Обновленцы потребовали удаления от управления Церковью Патриарха Тихона, реформы богослужения и ряда церковных канонов (женатый епископат, второбрачие духовенства) и, главное, тесного сотрудничества с атеистической властью. Сретенский монастырь был захвачен обновленцами и в нем служил обновленческий епископ Антонин (Грановский).